Предисловие

В конце 1991 года отец, только недавно вернувшийся в Нижний Новгород из Ялты, полный творческих планов и надежд (к его семидесятилетию в нескольких московских издательствах у него должны были выйти книги, в том числе его военная проза в «Роман-газете»), неожиданно тяжело заболел. Ухаживали за ним я и моя мама, Клавдия Ермолаевна Суслова (1926–2004). Мама, по профессии медсестра, была и ночной сиделкой у отца в больнице, куда его положили на обследование. Когда мы поняли, что врачи ему уже не в силах помочь, то забрали его домой, да и он не хотел оставаться в больнице, его тянуло к работе. Трудно вспоминать, как тяжело нам было, но мамины молитвы и её любовь к отцу давали ему силы, он почти месяц мог плодотворно работать: подготовил к изданию

новую книгу стихов, до последнего часа дописывал свою повесть «Буреполом». Я разбирала, печатала. Мама же брала на себя самую сложную работу – уход за тяжелобольным, выполняла необходимые медицинские процедуры, кормила с ложки, мыла, переодевала. Отец понимал, что жить ему осталось недолго, попросил пригласить священника из Высоковской церкви Троицы Живоначальной. Священник исповедал, причастил, а когда узнал, что родители не венчаны, то и повенчал их...

Читателям журнала «Нижний Новгород» предлагается повесть «Буреполом» Фёдора Сухова, задуманная автором не просто как автобиографические воспоминания о детстве, а как попытка на примере жизни своей семьи, родного села Красный Осёлок показать страшные для России перемены, с корнем вырвавшие православную веру, патриархальный уклад семьи, любовь труженика-кормильца к земле, искалечившие судьбы всего русского крестьянства. Фёдор Сухов родился в год основания Советского Союза и умер в год его распада (1922–1992). Предполагалось, что повесть охватит период с конца 20-х до конца 30-х годов прошлого века, то страшное для села время, которое названо коллективизацией, но автор не успел её окончить.

За месяц до своей смерти он отпечатал и передал несколько глав повести волгоградскому поэту В. Макееву, рассчитывая на дальнейшую публикацию и остальных глав. Эти начальные главы были опубликованы в журнале «Отчий край» уже после смерти отца.

Мне долгое время казалось, что в рукописях остались только черновые наброски повести, из которых трудно собрать целостное повествование. Но при внимательной расшифровке не переписанной набело рукописи выяснилось, что она складывается в достаточно объёмное и очень интересное произведение, которое можно опубликовать и как незаконченное, так как это хроника, основанная на реальных событиях, в ней нет сюжета, требующего логической концовки.

Большинство персонажей повести – живые люди, выведены под их собственными именами, они легко узнаваемы для своих земляков. Ф. Сухов никогда не писал о том, чего не знал, и главной задачей писателя считал правдиво отображать жизнь, тем более, когда правда сознательно искажалась. Сухов пытается донести до читателя ту правду, какую знали его сородичи, он сам. В то время, когда Сухов писал свою повесть, правду о коллективизации писатели-деревенщики обходили стороной.

Как мечтал отец сказать всё, о чём стыдливо молчали писатели-деревенщики, но повесть его оборвалась на полуслове…

Елена СУХОВА, дочь поэта

Часть первая

I

– Его Овдотья в мокром подоле принесла, – так баяла моя мать, когда в нашу избу заходил какой-нибудь сторонний человек, когда человек этот не мог не обратить внимания на мои полные слез глаза, на лужу, в которой я сидел среди только что вымытого, сбитого из широких тесин, оголенного пола.

– Больно хил...

Мать соглашалась, был я и вправду хил, и не было даже малой надежды, что я встану на ноги, сделаю свой первый шаг.

Трудно сказать, когда, в какую пору запечатлелся в памяти этот разговор, но мне кажется, разговор этот – самое первое восприятие человеческой речи моими младенческими ушами, восприятие неосмысленное, такое, какое бывает на втором или третьем году жизни.

Осмысленное восприятие пришло ко мне на шестом, а может, на седьмом году моего пребывания под куполом, нельзя сказать, безоблачного – часто непроглядно заволоченного неба.

Мать моя – «остроушка», так звали всех баб, которые родились за Волгой, была она из бедной, многодетной семьи, сирота, отца не помнила, росла под присмотром старшего брата. И вот страшное известие – старший брат убился, попал в колодезь...

Не помню, как я попал в Великовское, в родное село своей матери, но хорошо помню длинный, выдолбленный из смолистой ели гроб, а в гробу – черная борода, она не так длинна, не прикрывает сложенных на груди, искалеченных тяжкой работой рук. Борода не страшит меня, не страшат и руки, но два положенных на глаза пятака – страшат.

– Да ты не бойся, попрощайся с дядей-то, – слова эти проплакала кривая старуха, мать моей матери, моя бабушка, которую я почти не знал, она стеснялась своей бедности и редко навещала свою дочь, к тому же дочь она выдала за вдовца, обремененного двумя малыми детьми, восьмимесячным мальчиком и полуторагодовалой девочкой.

– Мал, ничего еще не смыслит, – проговорила другая старуха, проговорила просто так, но я приподнял опущенные под ноги глаза и уставился ими в прилепленные к гробу, плачущие тихими слезами восковые свечи.

– Упокой, Господи, раба твоея,– размашисто крестясь, пропел седобородый, облитый черным лоснящимся сатином, крепко сбитый старик.

– Это наш настоятель, – прошептала мать, прошептала только для того, чтоб я тоже размашисто перекрестился, показал свою приверженность к древлему благочестию.

Я перекрестился, я даже преодолел страх, придвинулся к тихо слезящимся свечам.

И тогда-то жена убившегося дяди, та самая Овдотья, которая, как мне думалось, принесла меня в мокром подоле, привстала со своей табуретки и слепо потянулась к смирно сложенным на груди, крепко спящим рукам.

– Отработали твои рученьки, отдержали соху-сошеньку...

Впоследствии я много слышал вопящих по своим мужикам наших русских баб, но их вопли не могли приглушить во мне впервые услышанного, потрясшего все мое существо, остолбеняющего плача укутанной в шерстяной платок нежданно-негаданно овдовевшей Овдотьи.

Отдержали соху-сошеньку,
Отпахали пашню-пашенку,
Откосили они зелены луга,
Отметали сена в высоки стога...
Ах, пойду-ко я во чисто поле,
Ах, ступлю-ко я на свой загон,
На загон на свой, на полосыньку,
Что не орона , что не пахана
Во тоске лежит, во кручинушке,
Вопрошает она своей горечью,

Что подеялось с сохой-сошенькой,
Что-то сталось с ее пахарем?
Ах, пойду-ко я в зелены луга,
Опущу-ко я на траву-мураву
Грусть-тоску свою, свое горюшко,
Приподнимутся травы буйные,
Подойдут ко мне с укоризною,
Иссушило их лето знойное,
Белей льна стоят по угоринам,
По угоринам, по поеминам...

Глаза мои застлали слезы, и я не углядел, как был поднят гроб, как гроб этот на белых холстинах доплыл до двери, мешали мне и спины выходящих из просторной избы, понуро склоненных взрослых людей. Горизонт детского зрения узок, он расширяется с годами, я многое не углядел, многое не увидел, я даже не видел матери.

Кинулся к двери, с трудом открыл забитую инеем дверь, скрипя промерзлыми сенями, выкатился на улицу. Широкая, утыканная кургузыми ветлами улица утопала в глубоком, кое-где запятнанном вылитыми помоями, снегу. Откуда ни возьмись, появилась мать.

– Ты куды? – накинулась она на мои, прихваченные морозом, неутешные слезы.

Я долго молчал. А в это время размеренно, удар за ударом, звонил колокол, грустно ронял свои слезы.

Мать схватила меня за руку, и мои слезы покатились к этим грустно роняемым слезам.

Рано, чуть ли не с самого рождения, я был приобщен к благовесту древлего миропонимания, еще не встав на ноги, на руках матери по паутри, по павечери я вбирал в себя дух каждодневно попираемого, но не попранного благочестия в нашей упрятанной на задворках моленной.

Думаю, не будет лишним, ежели я потревожу бороду протопопа Аввакума, что-то скажу о его последователях, что утвердили себя по всему Нижегородскому Заволжью, утвердили и по Приволжью, по правому и по левому берегу величавой, на удивление красивой реки. Гонимые, не имеющие права на какое-либо существование, они, последователи старой веры, выжили. Сила духа оказалась сильнее великодержавного Левиафана, эта же сила духа явила удивительное по своей целомудренности искусство: в краске, в слове, в дереве. Весь мир удивляется русской иконописи, русскому деревянному зодчеству, аввакумовскому Житию. К сожалению, современный читатель почти не знает творение братьев Денисовых, их «Поморские ответы», по утверждению величайшего поэта XX века, были близки создателю новой государственности, нового мироустроения.

Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в «Поморских ответах».*

«Вещи и дела, аще не написаннии бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написаннии же яко одушевлении».

Автор одного из проникновеннейших повествований, великолепной лирической поэмы не посчитал нужным уведомить читателя,

* Николай Клюев (Из цикла «Ленин»).

что начальные строки его вдохновенного создания слово в слово повторяют начало «Поморских ответов», только кавычки, только они указывают на заимствование*.

А я вслед за матерью протиснулся в дверь осененного деревянным крестом невеликого строения и – обомлел, на меня со всех стен уставились угрюмые лики великомучеников, в свое неполное семилетие я, конечно, далек был от какого-то понимания, но память моя запечатлела увиденное, правда, оно теперь – как давнее-давнее сновидение. Запомнился всадник на белом, тонко выточенном коне и змея под копытом коня.

Не скажу, сколько времени я пробыл под приподнятым копьем низко склоненного всадника, наверное, не так уж долго, потому что еще засветло очутился возле заледенелого, как будто обросшего седой бородой, колодца.

– Гнал он, так гнал, што, может, и не заметил этого колодца, а тут вон какой раскат-то, сани-то, раскатившись, о сруб ударились. И – вышибло человека-то... Никто не ведает, где нас смертушка-то сторожит.

– Говорят, выпимши здорово был?

– Может, был, может, нет.

– Ежели б не был, не гнал так скакуна-то...

Такой разговор услышал я, когда к колодцу подошли уж больно басеные молодицы, подошли с деревянными (как кадушки) ведрами.

– А ты-то откуды? – наклонясь к моему малахаю, вопросила одна из молодиц, та, что утверждала, что убившийся человек был выпимши.

Я упрямо молчал.

– Из Осёлка он, – ответил за меня мой двоюродный брат, сын убившегося дяди, он-то и привел меня к обледенелому колодцу.

Повалил снег, повалил так густо, что нельзя было разглядеть стоящей поблизости избы. Что в такую непогодь может держать на улице? Вроде ничто, вроде надо скорее убираться домой, к теплу жарко потрескивающего подтопка, но белая магия падающего снега долго держала нас возле колодца, хотелось заглянуть в его ледяное нутро, но удерживал страх. У меня уже был кое-какой опыт в преодолении страха, я мог среди ночи выйти на улицу, мог по павечери пройти мимо кладбища, поэтому я первый отважился заглянуть в ледяное нутро. Омут черного-черного ужаса обдал меня своим жутким холодом. И тогда-то по моей спине заколотились чьи-то кулаки. И – крик:

– Ах, ты! Што ты делаешь?

Мать, она схватила меня за рукав ветхого, сшитого из домотканного сукна пиджачишка и, оттащив от колодезной бадьи, опять начала урезонивать меня своим плачущим криком:

– И тебе охота на тот свет уйти!

Мне не хотелось на тот свет уходить, не хотелось хотя бы потому, что на том свете вряд ли есть такой снег, такая широкая улица...

Я прогулял поминки, поминальный обед, прогулял этот обед и мой двоюродный брат Иван, Вашурка, как его звали, но голодными мы не остались, опосля поминок всегда в изобилии бывает всякой снеди, и нам перепала не только одна каша, но и по большой деревянной ложке янтарного, маслянисто-тягучего меда. Опосля поминок обычно наступает какая-то неприкаянная, удручающая тишина, даже дети, даже они смирнеют, не скажут лишнего слова. Казалось бы, опосля поминок есть повод поговорить о бренности земного бытия. Но говорят, наоборот,

---

* Имеется в виду роман И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева».

смерть близкого человека, его уход из жизни усиливает узы этой жизни. Живые хоронят мертвых не для того, чтоб пасть в уныние, хоронят мертвых для того, чтоб через боль утраты обрести упорство в преодолении выпадающих бед, напастей, в приобретении стойкости, без которой немыслимо пребывание на этой земле, на этой планете.

– Не убивайся, Овдотьюшка, Бог не без милости...

А и впрямь не без милости, долго-долго не уходили из просторной избы убившегося Василия Иваныча его младшие братья: Алексей Иваныч, Андрей Иваныч, Михаил Иваныч, Федор Иваныч, ушел только Кузьма Иваныч, старший брат, он все время уединялся, он не выносил даже запаха (духа) сорокоградусного зелья и не возлюбил своих младших братьев за их пристрастие к этому зелью, он был уверен, что Василий Иваныч убился только потому, что не избежал пагубного соблазна, выпил, и уж конечно, сверх меры. Впрочем, меры тут не может быть, даже одна капля злосчастного пойла таит в себе погибель.

– Не убивайся, Овдотьюшка, – эти слова так часто слышались, что можно было подумать, что внезапно овдовевшая Овдотьюшка зря убивается, зря льет неутешные слезы. А она привстала со своей скамьи и, пошатываясь, прошла в чулан, к челу печи, открыла ее заслон, потом взяла в руки ухват (рогач), вытащила им большой котел (чугун) подогретой воды.

– Лошадь нады напоить, – убитым голосом просипела Овдотьюшка, она вылила из закопченного котла подогретую воду, хотела приподнять это ведро, но моя мать перехватила, ведро очутилось в ее руках.

– Тетка Марья, я сам...

Мой двоюродный брат, он уже почувствовал себя хозяином, ухватился за дужку ведра.

– А донесешь ли?

– Донесу.

Я не утерпел, слез с печи и тоже приблизился к еще неостывшему пару, что бело стоял над вынутой из печи подогретой водой.

– Ты фонарь понесешь, – так сказал мой двоюродный брат Иван, Вашурка.

Фонарь зажгла мать, тот самый фонарь, который звался «летучей мышью».

– А как лошадь-то зовут? – спросил я несущего тяжелое ведро Вашурку.

– Любим.

Пожевывая, хрупая зубами сладкое, сброшенное с высоких сушил сено, он чуял, может, воду, может, наше дыхание и – приветливо заржал. Темно-серый, в крупных яблоках, не такой уж редкой в наших краях масти, он приподнял точеную, с красиво поставленными ушами голову, думается, он хотел увидеть своего старого хозяина, но увидев двух парнишек, двух мальчишек, потупился.

– Любим... Любим...

Покосился глазами, показал яичную белизну белков, будто боковину ущербного месяца приподнял в тускло освещенной сутеми, влажными гуттаперчевыми ноздрями учуял поставленное на дощатый настил ведро, налитую в него еще неостывшую воду.

– Любим...

Любим приоткрыл рот, обнажил верхние и нижние зубы – как две подковы, было видно: темно-серый, в крупных яблоках, жеребец нервничал, наверно, потому, что валил снег. А когда валит снег, кони

нервничают, не могут стоять спокойно, вообще всякая непогода воздействует на любую животину, коровы и те проявляют свой норов, когда пуржит и непогодит.

Приподнятое и опущенное в хлев ведро не успокоило темно-серого жеребца, пил он неохотно, неохотно мочил свои губы в остывающей, выкачанной из оледенелого колодца воде. Есть какая-то сила, которая вызывает усмешку у людей, спознавшихся с наукой, постигших тайну того или иного явления, но у людей, не постигших тайны даже собственного существования, эта сила сильнее всякой силы, она управляет всеми поступками, она верховодит, она незрима, неощутима. Люди науки, мужи научного миропонимания, они неопровержимо доказали, что земля вертится, они поднялись над землей, они летают по воздуху, говорят, могут долетать до иных планет, иных миров – хвала и слава им, людям научного миропонимания, но не надо пренебрегать опытом тех людей, которые свято верят в чудеса, в те чудеса, которые почему-то называют сверхъестественными...

– Он по тятяне тоскует, – так сказал Вашурка, мой двоюродный брат, он был старше меня на целый год, а раз старше, мог в чем-то просветить меня.

Я уже много знал сказок, но не все сказки казались мне правдивыми, особенно сказки о животных, не верилось, что медведь мог поступать как человек. А ежели взять лису, она в каждой сказке выглядит такой смышленой, что куда там какой-нибудь настоящей Патрикеевне.

– А лошадь может плакать? – спросил я своего брата. Брат, не задумываясь, ответил:

– Может.

– Как человек?

– Как человек.

Ровно через неделю, накануне Рождества, в Сочельник дядя Андрей (он жил напротив) вывел темно-серого жеребца из тесовых ворот, запятил его в оглобли легких (с подрезами) саней. На этот раз я дивился не только крупными яблоками, но и увешанным медными бубенцами ошейником, начищенными до блеска, сразу запотевшими на морозе бляхами и расписной дугой, ее, нет, не колокольчиком – большим, как пригоршни моего отца, колоколом.

– Садись, Марьяшка! – крикнул дядя Андрей стоящей на приступке крыльца, собравшейся в дорогу матери.

– Не убей нас, – сказала мать, когда вместе со мной села в подрезные, набитые сеном сани.

II

Трудно сказать, когда, в какое время, по всей вероятности, во время нижегородского князя Василия (он основал Васильсурск) обжили на правом берегу Волги, на заросшем дремучим лесом высоком-высоком угоре, какой-то зеленый пятачок, какую-то зеленую лядинку, судя по говору, выходцы с Владимиро-Суздальского ополья. Давно подмечено, что русские люди не любили ставить свои избы абы как, Днепр-Славутич, Волхов, Клязьма, Москва, Ока, Волга, эти реки, их берега стали колыбелью многих княжеских уделов, росли грады и веси, возвышались поначалу деревянные, впоследствии каменные храмы, писались на мореных дубовых досках лики святых великомучеников...

Монголо-татарское нашествие надолго приостановило естественное развитие всей Руси, всех ее уделов, и только сила духа, только она возвысила русского человека, побежденный возвысился над победителем, победитель не смог поработить побежденного, сохранился почти в неприкосновенности язык народа, его уклад, осталась в чистоте вера, любовь к родной земле.

Потеря языка ведет к потери национального самосознания...

Великий русский язык, язык «Слова о полку Игореве», язык летописца Нестора не деформировался, не потерял своего грамматического строя, он даже обогатился, восприняв несколько десятков слов из лексикона азиатских народов.

Красный Осёлок – так назвали выходцы с Владимиро-Суздальского ополья свой зеленый пятачок. Не надо обладать особыми филологическими знаниями, чтобы разгадать этимологию счастливо найденного словосочетания: красный, значит, красивый, осёлок – оселять.

К началу девятнадцатого столетия Красный Осёлок удлинился, обращенные к Волге окна добротных изб, коньки на тесовых крышах радовали вольных поселян. Говорю «вольных», потому, что мое село – так уж случилось – не знало крепостника-помещика. В 1828 году на самом высоком месте был поставлен кирпичный храм, поставлен в честь повсеместно почитаемого Николая Угодника, храм этот удивителен по своей архитектуре, во всем простота и соразмерность, без всякого излишества...

– Задремал, Федяшка?

Я вздрогнул, приоткрыл опушенные инеем ресницы, увидел повернутые к задкам саней стеклянные усы дяди Андрея, его рдеющее – от мороза – открытое лицо. Не мог я не увидеть развалившийся сзади на две половины темно-серый зад придерживаемого ременными вожжами, как бы танцующего Любима. Увидел я в мглистой отдаленной морози и ту высокую-высокую угорину, по которой, как по днищу перевернутой лодки, растянулся мой Красный Осёлок.

Не утерпел, вылез из-под тулупа, мороз сразу обжег мои щеки, но я не испугался, я вбирал в свои широко открытые глаза волшебную сказку русской зимы.

– Держитесь!

Дядя Андрей отпустил вожжи, зад Любима мигом двинулся вперед, полетели ошметки умятого копытами снега, наши сани быстро спустились с горы и очутились на завьюженном льду знакомого мне озера, а через каких-то пять минут сани наши прикоснулись к набитому стеклу волжского льда, стали стукаться о чакрыги этого льда, стукались о них и подковы конских копыт. Теперь не только из пригоршней подвешенного к дуге колокола, но и из-под копыт сыпался отчетливо слышный звон. Глухо звенел колокол, тоненько-тоненько позванивал лед.

Не знаю почему, но издали даже неказистое деревце кажется каким-то чудом, особенно в зимнюю пору, когда иней стеклянит каждую веточку, когда то же неказистое деревце превращается в белого-белого лебедя. Но впечатление меняется, когда видишь что-то вблизи. Усаженная яблонями красноосельская перевернутая лодка уже не была такой сказочной, какой она казалась с великовского взгорка. Наши сани подкатились к Папорти*, как звалась корма перевернутой лодки, к моим

---

* Слово *папорть* подтверждает моё предположение о давнем приходе на берега Волги моих односельчан, по моему уразумению, слово это произошло от слова «папорты» – лопатки плеч. Удивительно образно мыслили наши предки.

глазам придвинулась высокая гора с одиноко стоящей сосной на ее округлой шишке.

Дядья мои (окромя Кузьмы Иваныча) были великими озорниками, такая уж природа, так говорила моя бабушка (по отцу), Анисья Максимовна, она ужаснулась, когда услыхала под окнами своей избы, своего кержацкого полудомка, звон поддужного колокола.

– Будто свадьба какая... Люди до звезды говеют, маковой росинки в рот не кладут, а тут...

– Што тут?! – не утерпела еще не снявшая своей шали, только-только перешагнувшая через порог мать, она знала, что бабушка недовольна ее возвращением, зато довольна возвращением своего внука.

– Озяб, чай? – услышал я сразу изменившийся, обращенный ко мне хрипловатый голос.

А я и вправду озяб, руки совсем окоченели.

– В воду суй, в воду, – бабушка подвела меня к ведру студеной воды, взяла мои руки в свои руки и погрузила их в неприветливо темнеющее ведро.

Не первый раз мои руки купались в колодезной воде, но, наверное, в первый раз они так долго не отходили, наверное, в первый раз их так долго нестерпимо ломило, и я заплакал, никто, окромя бабушки, меня не утешал.

Бабушка Анисья, она, как и мать моя, до замужества жила в Великовском, но не в такой бедной, по словам деда, а в зажиточной семье. Сама бабушка не единожды говаривала, что они не из тех, у кого ни кола ни двора, а из тех, у кого и двор есть, и на дворе кое-что есть...

В избу вошел дядя Андрей, он снял голицы, по-ямщицки заткнул их за пояс и к великому удивлению Анисьи Максимовны положил три поясных поклона перед божицей, перед висевшей за ее стеклами тускло горящей лампадой.

– Говеешь ли?

– Говею, Максимовна, говею.

– Ведь нынче Сочельник, люди-то до звезды говеют, маковой росинки в рот не берут...

Руки мои отошли, и я снова очутился на улице, мне хотелось взглянуть на восходящую звезду, на ту звезду, что предвещала рождение Иисуса Христа.

Сойдя с крыльца, я не мог не глянуть на смирно стоящего под накинутым тулупом, подбирающего положенную прямо на снег охапку сена Любима. Не утерпел, подошел к правой оглобле, тронул увешанный бубенцами ошейник, послышался звон, точно такой, какой я слышал на Волге, будто льдина о льдину стучалась...

Звезда взошла над багряным сугробом закатной зари, она сразу остро засияла, это острое сияние отчетливо выделялось на еще несвечерневшей, едва притемненной холстине по-зимнему просторного, не обложенного облаками неба.

Ударил церковный колокол, я вздрогнул, вздрогнул потому, что удар колокола показался близким-близким, показался каким-то не таким, не похожим на много раз слышанный звон, уж больно гулко, больно раскатисто рокотал подвешенный на колокольной перекладине средний колокол. Возможно, мороз, возможно, он способствовал долго неутихающему гудению потревоженной чугунным билом (языком) басовитой меди. Я видел, как срывался с недвижимо опущенных ветвей нашей подоконной березы легкий, как пух, порозовевший от зари иней. Иней падал и на рукава моего пиджака, падал не с березы – со старой-старой яблони, неслышно, как паутина, прикасался к домотканному, подбитому ватой

сукну. На какое-то время я отстранился от одиноко сияющей звезды, слушал гудение колокольной меди, ее благовест, слушал не так уж долго – мороз-то не утихал, больно жег мои щеки, и если б не присевшие на застреху запележенного соломой двора – ах, какие эти прилетевшие откуда-то снегири! – если б не они, не эти снегири, я бы утопал домой, к краюхе испеченного бабушкой Анисьей подового хлеба.

Снегирей я видел и раньше (не мог не видеть), но запечатлелись они в моей памяти в ту самую зиму, в какую убился дядя Василий. Большой, как его звали.

Милые, милые птахи! Они – как крупная клубничка посреди зимы, они слетели с застрехи и рассыпались по засугробленному огороду, сходство с клубникой усилилось, только сугроб, только снег... Впрочем, и в пору лета, по паутри, когда выпадает обильная роса, огород наш матово белеет, может, вспоминает свой растаявший сугроб, свой снег.

– Федяшка! – это дядя Андрей, это он окликнул меня, окликнул тогда, когда взял в руки ременные вожжи, чтоб под сиянием радостно взошедшей звезды возвратиться в свое Великовское.

Я вспомнил о Любиме, о его яблоках, в ушах моих зазвенели бубенцы, их звякающий смех позвал меня к легким казанским саням.

– Попрощайся с дядей-то! – подталкивая меня к белым валенкам дяди Андрея, проговорила мать, проговорила так жалостно, что мне подумалось, что и дядя Андрей может убиться, упасть в колодезь.

Я упрямо молчал. А в это время взятые в руки вожжи тронули вложенные в рот Любима железные удила. Не знаю, заметила ли моя мать, но я заметил, как укатились казанские сани, только их подреза оставили на снегу две полосы, по которым скользила взошедшая над багряным сугробом зари рождественская звезда.

III

«Пастухи пустыни, что мы знаем!»*

А и вправду, что мы знаем? Я даже не знаю, когда родился мой дед, знаю только его имя и отчество – Петр Матвеич, знаю, что Петра Матвеича все звали батенькой, одни – почтительно, другие – подсмеиваясь. Я и сам называл своего деда, нет, не батенькой – батей.

– Батя, расскажи сказку!

И батя долго-долго рассказывал о невидимом граде Китеже, о поганом хане Батые, что черной тучей надвигался на Китеж.

Рано, пожалуй, с годовалого возраста, стал приобщать меня мой дед к Богу.

«Без Бога – ни до порога», – не один мой дед, все так говорили.

На третьем году я усердно клал поклоны, клал их со скамьи, клал перед завтраком, обедом, ужином. Соблюдал посты, соблюдая, ждал мясоеда. Взошедшая над багряным сугробом звезда возвещала не только о появлении зачатого Святым Духом Младенца, но и о кринке поставленного на стол молока, о сдобренной скоромным маслом каше...

А пока я терплю, говею. Дед надумал испытать меня, подошел к залавку, взял хлебальную чашку, наклал в нее творога и подал мне. Я замотал головой.

---

* Строка из стихотворения И.А. Бунина.

Старик умиляется, похваляется мной перед своим единоверцем Петром Степанычем Филиновым, что заглянул в наш полудомок по какой-то неотложной надобности.

– Вот он какой!

Петр Степаныч одобрительно кивает непокрытой, убеленной седыми волосами головой. А потом, как бы спохватившись, говорит:

– Пора собираться.

– Пора, Петр Степаныч, пора, – отзывается дед и, привстав с табуретки, подался к деревянному крюку, на котором висел старый, залатанный заплатами полушубок.

Шубенный нос – такое прозвище пристало к моему деду. Почему-то оно вспомнилось мне, это прозвище...

– Ты пойдешь с нами? – надевая шубник, проговорил обожаемый мною мой старый-старый батя.

– Еще бы не пойду! Пойду.

В избе нашей, в нашем полудомке не было ничего примечательного: голые стены, щели в стенах, в щелях – черные тараканы. Одну из стен украшали старинные – с кукушкой – часы, те часы как-то скрашивали действительно убогий быт, тот быт, который, казалось, ничто не могло изменить. Приверженцы протопопа Аввакума крепко держались за свой уклад жизни, избегали какого-либо украшения.

Щелкнула дверца, из маленького окошечка выглянула кукушка, кукукнув, спряталась. Потом опять выглянула, опять кукукнула. А когда замолчала, дед спросил меня:

– Сколько раз выглядывала?

– Шесть раз.

Шесть раз выглядывала кукушка, шесть раз подавала свой голос.

Шесть часов вечера, обычно в это время я залазил на полати, укладывался спать. Рано? Да, рано. Рано укладывался мой брат Арсений (не родной по матери), он старше меня на пять зим, он уже ходит в училище, но ходит с неохотой, за что не удостаивался какой-то приязни со стороны батеньки, приязнь эта вся отдавалась мне. Так уж случилось, так получилось.

Мороз усиливался, крепчал, слышнее взвизгивал снег, и не только под полозьями саней, но и под валенками идущего рядом с дедом тяжелого на ногу Петра Степаныча. И все-таки мороз не ожесточился, не злился. Не злился потому, что было тихо, ничто не шевелилось, даже снежинки и те притаились, пришипились.

Дивное диво совершилось на небе, теперь не одна, не две, много-много звезд вещали о рождении Младенца. Как ни старался я углядеть ту первую, одиноко взошедшую звезду, не углядел. Решил спросить деда, куда делась увиденная мной на закатной заре, так долго ожидаемая звезда?

Дед отмолчался, ничего не сказал.

Я обратил свои глаза на жарко освещенные, железно зарешеченные окна мирской церкви, той самой церкви, что царственно возвышалась посреди села. Смотрел я и на поставленное в начале века приходское училище, оно светилось двумя окнами, светилось тускло, как через бычий пузырь, сказывался мороз, что холстинно прилип к хрупкому стеклу.

– А в училище-то учат?

– Учат, учат, – живо отозвался идущий по протоптанной, взвизгивающей тропинке дед, он не обращал никакого внимания на огни, но чуял мой интерес ко всему, что происходило на свечеревшем небе, на погруженной в колодезную сутемь, длинной-длинной улице.

– Учат днем, – проговорил я, проговорил тихо-тихо. Я думал, что дед не услышит, но он услышал, услышав, приостановился, назидательно сказал:

– Кто плохо учится, тех и ночью учат, без обеда, без ужина оставляют.

Может, и оставляют без обеда, без ужина, но в другие дни, в Сочельник, в канун Рождества, даже самых нерадивых учеников засветло отпускают по .домам.

Так мне казалось, так думалось.

И как бы в подтверждение моих дум, моего уразумения под окнами стоявшей супротив училища, принакрытой заиндевевшими ветлами избы, послышался задорный крик тех, кто уже постиг таблицу умножения, решал немудрящие задачи:

Золотая голова,
Шелковая борода!
Ты подай пирожка
Ради праздничка Христова,
Пирожка-то хоть пресного,
Хоть кисленького
Да пшеничненького!
Отрежь потолще,
Подай побольше!

Я придержал себя, приостановился. Глазам моим привиделся пшеничный пирожок. Да и как не привидеться, ежели целые сутки я томил себя воздержанием, даже после появления на завечеревшем небе светло горящей звезды. Не прикоснулся ну хотя бы к тем сочням, что млели в еще неостывшей печи. Бабушка предлагала, но я отказался.

Мы по ржам, по межам,
По широким рубежам
Приблудили ко двору
Генералову.
Генералов двор,
Он и тыном обнесен,
И кольцом обведен.
Посреди того двора
Стоит горенка нова.
Как на этой на кроватке
Перинушка пухова.
Как на этой на кроватке
Перинушка пухова,
Как на этой на перине
Лизаветушка-душа.

Не знаю, когда, но можно предположить: давно-давно, в огороде одного из ярых приверженцев старой веры была поставлена, нет, не изба, скорее всего келья, точно такая, какие ставились в Заволжье по Керженцу, по Ветлуге, какие в давние времена так жестоко разорялись по повелению нижегородского митрополита Питирима.

Не так много, всего-навсего три семейства, три фамилии в нашем Красном Осёлке оставались верными древлему благочестию: Филиновы, Родионовы и мы, Суховы, поэтому стоящая в огороде небольшая келья вмещала в себя всех страждущих, всех приходящих.

«Еще бы не пойду! Пойду», – я, конечно, знал, куда пойду, я уже не раз ходил в стоящую в огороде моленную. Своим угрюмым видом эта моленная (эта келья) должна бы пугать меня, но на своей седьмой зиме я так крепко пристрастился к пригорюненной обители, что мог выстоять наравне со взрослыми двухчасовую заутреню или вечерню.

Обогнув довольно справный, крытый железом полудомок, взвизгивающая под валенками тропинка уткнулась в приступок осененного деревянным крестом крылечка. Я видел, как дед мой обнажил голову, отвесил поясной поклон, отвесил поясной поклон и Петр Степаныч. Я хотел тоже было снять шапку, но не снял, не мог развязать затянутые под подбородком лямки. Мои оголенные руки больно жгло морозом, не утерпел, заплакал.

– Ты што, зазяб? – вопросил обернувшийся к моим слезам весь заиндевевший дед.

– Знамо, зазяб, – утвердительно пробаил Петр Степаныч, он тоже весь заиндевел и походил на мельника.

Дед взял меня за руку и ввел в моленную. В моленной, потрескивая, жарко горели восковые свечи, горели лампады, топилась докрасна раскаленная железная печка.

– Заморозил парня-то, – обратясь к деду, укоризненно пропела накрытая пензенским платком уж больно сердобольная Матрена Степановна, жена Федора Петровича, старшего брата моего отца.

А дед, он ничего не сказал, он сам зазяб, сам потянулся к раскаленной печке, омывая ее теплом покрасневшие руки.

– Будем начинать?

– Подождать бы нады...

– А кого, чего ждать-то?

– Из Ёрзовки* должны прийти.

– А разве не пришли?

– Не все вроде...

Такой разговор обычно происходил перед каждой вечерней, перед каждым большим праздником. Дело в том, что среди собирающихся в моленной приверженцев старой веры не было того, кто бы главенствовал, кто бы правил службу, любой мог стать к аналою и читать псалмы царя Давида, любой мог вознести хвалу и славу непорочной деве Марии...

Чаще всего к аналою подходил старший брат моего отца Федор Петрович, человек весьма примечательный, самоуком постигший тайну Священного Писания, глубоко познавший и самозабвенно воспринявший все символы древлего, дониконовского, благочестия. Дородный, с лицом, обрамленным недлинной, прихваченной легким морозцем, бородой. Он и сейчас приблизил себя к аналою, поставил на него подсвечник с зажженной свечой и, раскрыв большую, в кожаном переплете, книгу, стал читать. Читал внятно, совсем не так, как великовский настоятель, и все же многие слова не доходили до моего детского понимания, они только будоражили мое воображение.

«В месяц же шестый послан бысть ангел Гавриил от Бога во град галилейский, ему же имя Назарет, к Деве, обрученней мужеви, ему же имя Иосиф, от дому Давидова, и имя Деве Мариам.

И вшед к ней ангел рече: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах. Она же, видевши, смутися от словеси его и помышеше, каково будет целование сие. И рече ангел Ей: не бойся, Ма-

---

* Деревня, примыкающая непосредственно к Красному Осёлку, к его высокой горе.

риам, обрела бо еси благодать у Бога, и се зачнеши во чреве, и родиши Сына, и наречеше имя ему Иисус»*.

Озаренный горящими свечами чтец приостановился, глянул на свою жену, на свою Матрену Степановну, а Матрена Степановна сразу поняла, что нужно делать. Подняв к закопченному (как в бане) потолку свои большие, полынного цвета глаза, благоговейно пропела:

«Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию рождшагося от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии».

Долго, больше двух часов длилось молебствие. Я не выдержал, сморился. Дед, заметив, как я сонно блукаю глазами, попросил дочь Федора Петровича, красавицу Аннушку, спровадить меня домой. Аннушка не ослушалась (не могла ослушаться, слово старшего – свято), она взяла меня за руку, подвела к двери, надела на мою голову великоватый, из зайца-русака, малахай и вывела на улицу.

Сколько было времени, наверно, время приближалось к полночи. В такую пору редко можно было увидеть свет в окошках, но в каждое окошко стучался большой праздник, а праздники издревле принято встречать трепетом священного огня, священной лампады, поэтому не было ни одного окошка без света, без его трепета. Может, потому притих мороз, не так зло хватался за щеки, зато еще ясней, еще лазурней ликовало небо. Покрупнели алмазно чистые звезды, они, как из колодца, глядели в мою душу, они все видели, все чуяли. Если б я был один посреди улицы, посреди укатанной санными полозьями, таинственно притихшей дороги, я бы устрашился, но звезды, они проявляли какую-то участь ко всему, что делалось на заваленной глубоким снегом земле.

– Отец-то не приехал? – спросила меня подошедшая вместе со мной к нашему дому, опушенная легким инеем, красавица Аннушка, моя двоюродная сестрица.

Нет, не приехал...

А я хотел, чтоб отец мой приехал, он работал за Волгой, вывозил на своем гнедом мерине поваленный где-то под Пенякшей лес.

Аннушка оставила меня возле крыльца, она знала, что я без ее сопровождения поднимусь на крутой мост, без ее помощи открою сенную дверь, но она не знала, что я соблазнюсь ночующими за сенной дверью салазками, буду кататься на этих салазках с политого колодезной водою, заледенелого бугра.

Катался я недолго. За огородами, на гумнах заухал филин, я испугался. Убежал домой. А дома, в кути, увидел только что принесенного со двора теленка.

– Жданка отелилась, – заметив мое удивление, проговорила бабушка, – бог бычка дал, – добавила она, когда я разделся, когда стал оглядывать взошедшую на телячьем лбу рождественскую звездочку.

IV

Да, я не знаю, когда родился мой дед, но я знаю, когда строился наш полудомок, на железной двери его кирпичной кладовой неизвестно кем выведена красной краской четырехзначная цифра – 1876, такой же краской выведена голова и шея скакового коня. Можно догадаться, что мои

---

* Евангелие от Луки, гл. 1.

родичи (по отцу и по матери) любили гривастых скакунов, со временем я поведаю, скажу об этой любви, а сейчас я возвернусь к деду, к бабушке. Можно предположить, что Петр Матвеевич был обручен с Анисьей Максимовной в том самом году, когда строился полудомок, это предположение подтверждается тем, что год рождения старшего сына Петра Матвеевича и Анисьи Максимовны – Федора Петровича – в случайно попавшей в мои руки бумаге обозначен 1877 годом, второй сын Кузьма Петрович родился на два года опосля – в 1879-м, третий сын Иван Петрович народился в 1889-м, отец мой Григорий Петрович – в 1892-м, и последний сын Егор Петрович – в 1898-м, была еще у Петра Матвеевича и Анисьи Максимовны дочь, Мария Петровна, когда она родилась – даже предположить не могу, знаю только, что она была старше моего отца.

К моему появлению на свет все потомство деда и бабушки жило самостоятельно, все были определены, сыновья отделены, дочь выдана замуж.

Обычно люди черпают какие-то знания из книг, из учебников истории или географии, но можно многое познать, не прибегая к книгам, к учебникам. Посмотришь на дерево, по его стволу, по его кроне без особого труда определишь породу, возраст, а если ты попристальней вглядишься, узнаешь, что за бури, что за молнии искалечили его макушку. То же самое с каким-нибудь селом, с каким-нибудь городом, пройдись по улице, вглядись в поставленные на кирпичные кладовые избы, эти избы поведают тебе о том времени, в какое они ставились, возводились.

Я уже оповестил, что на самом видном месте в 1828 году была поставлена в Красном Осёлке удивительная по своей простоте и изяществу кирпичная церковь. Она – как лебедушка, она готова взлететь, удерживает кладбище, вернее кладбищенские кресты, они придерживают белую лебедушку, они умоляют ее, чтоб она не улетала...

Должен признаться: год возведения нашей краснооосёльской церкви я узнал случайно, в мои руки попал ее чертеж с четко поставленной датой.

Но вот и школа, наша приходская школа, училище, как называли мои односельчане добротное, поставленное неподалеку от церкви деревянное здание, я не видел его чертежа, его плана с той или иной датой, но не ошибусь, ежели скажу, что это здание было поставлено вскоре после 1905 года, когда сам царь убедился в необходимости народного образования. По кирпичному фундаменту, по листовому железу на покатой крыше, по окнам, по водосточным трубам можно узнать время, время можно узнать и по частным домам. Дома, обращенные своими окнами, своим лицом к Волге, встали к ней соломенным задом. Добротные дома (полудомки) ставились в последней четверти XIX века, когда Россия уверенно ступила на путь преобразования, промышленного подъема. Что бы там ни говорили об отсталости Российской державы, но Транссибирская магистраль, Туркменская железная дорога проложены русскими людьми, проложены тогда, когда Эйфелева башня возвещала о торжестве железа и стали, железом и сталью одной Трассибирской магистрали можно было опутать всю Германию...

Цивилизованная Европа долго укоряла нас нашей русской печью, полатями, тараканами и, конечно, лаптями. Что ж, была печь, были полати, не было ни перин, ни пуховых одеял, были кирпичи, были голые доски... И все-таки я благодарно вспоминаю и не только русскую печь, и не только полати, но и того быстро обсохшего бычка, что стучал своими копытцами по устланному свежей соломой, только что вымытому полу.

– Как назвали? – гладя четвероногого белолобыша, с явно издевательской ухмылкой спросил рядом живущий и часто заглядывающий в родительский дом младший сын моего дедушки – Егор Петрович, Егорка голоштанный – так в глаза и за глаза звали навеки проклятого отступника и не только от старой – от всякой веры, басурмана, христопродавца.

– Ты бы шапку сперва снял, – выглянув из чулана, из-за его ситцевой, усыпанной блеклыми цветами занавески, укоризненно пропела моя бабушка Анисья Максимовна, пропела и горестно притихла.

Егор Петрович спохватился, снял шапку и опять стал спрашивать, как назвали на удивление крупного, огненно-красного телка.

– Никак не назвали...

– Назовите Иисусом.

Бабушка схватила ухват и с ухватом выкатилась из чулана.

– Нечистый дух, сгинь с моих глаз, не погань моей избы!

– Изба-то не твоя...

– А чья она, твоя, што ли?

– Моя.

– Господи! – воззрясь на освещенные светло горящей лампадой древние, дониконовского письма, образа, слезно взмолилась ошарашенная неслыханным богохульством сердобольная старуха. – Господи! – повторила она. – За какие прегрешения наказал меня? Ежели б я знала, ежели б я ведала...

– А разве ты не знала?

– Што я знала? Ничего я не знала.

Не знала Анисья Максимовна, что ее последыш, встав на ноги, пойдет не по тому пути, не по той дороге. Да и кто мог знать, неисповедимы пути Господни.

А и в самом деле, неисповедимы всякие пути, всякие дороги. Помыслить страшно: от Бога отступился? Без Бога – ни до порога. Пословица-то не зря бается, не зря говорится.

– Темнота, – так Егор Петрович отзывался обо всех, кто держался за старину, за религиозные каноны, особо потешался над старой верой, к которой он сам когда-то принадлежал, сам когда-то ходил в моленную, читал тропарь и другие священные книги.

Как же так произошло, почему человек так легко расстался с тем, что для многих людей составляло сущность всей жизни?

Без всякого домысла, следуя непомерной в моей памяти житейской правде, постараюсь запечатлеть типичный для своего времени еще один облик «борца» за новые идеалы, за новое миропонимание.

«Бедовый был, дом-то вон у вас какой высокий, а он залезет на крышу да и ходит по коньку, не то в трубу зачнет кричать, Онисью, бабушку твою, пугал. Сколько раз в колодезь залазил, спустит бадью, а опосля по цепи сам спустится. На звезды из колодезя-то глядел, рассказывал, какие звезды посреди дня видел. Крупные, как яблоки. Озорник был. Но учился хорошо. Схватывал все быстро, с похвальным листом училище-то закончил. Нады бы дальше учиться, а дедушка твой воспротивился, не пустил. Тогда-то он и убежал из дому, долго на барже плавал. Вскорости война зачалась. В войну-то я не знаю, где он пропадал. Знаю только, коли подошло время призыва, дома его не было. Меня-то призвали, а его дезертиром признали. Домой заявился, когда царя свергли. И опять – временные власти меня призвали, а его почему-то дома оставили. Што он делал дома, мне неизвестно, будто советскую власть устанавливал. Может,

и устанавливал, я не знаю. Я супротив Колчака воевал, домой заявился по окончании гражданской войны, в пору продразверстки. Через год оженился. Оженился и Егор Петрович, невесту он взял из Кременок*, взял не по вере. Тогда дедушка-то твой и проклял его, анафеме предал».

Так рассказывал мне наш сосед Михаил Федорович Туманин, рассказывал незадолго до своей смерти.

«Следуя житейской правде», – эти слова мои вряд ли можно воспринять без оговорок. Кто подтвердит, что я говорю сущую правду? Вот ежели б жива была моя мать, она что-то бы сказала, что-то подсказала.

– Ты, чай, помнишь, как он иконы-то в колодезь побросал, – сказала бы мать и тяжело б вздохнула.

Как не помнить! Хорошо помню, как влетела в нашу избу жена Егора Петровича, дородная Овдотья (не она ли, не эта ли Овдотья принесла меня в мокром подоле?), как она, эта Овдотья, прямо с порога ошарашила сидящую за светло начищенным самоваром Анисью Максимовну:

– Жулик-то, жулик-то иконы утопил!

Бабушка долго не могла сообразить, что произошло, она могла воспринять конец света, но чтоб кто-то утопил сгребенные с божницы медные, дониконовского литья иконы – такого богохульства и представить невозможно.

– Ты што, што ты буровишь? Святые образа нихто не в силах осквернить. Господь не потерпит!

Я видел, как мой старший брат Арсений в одной рубашонке, без шапки выскочил на улицу. Я тоже слез с полатей, тоже в одной рубашонке хотел было выскочить за дверь, добежать до колодца, заглянуть в него, дабы узнать, что сталось с иконами, но на пороге столкнулся с дедом. Дед, отстояв заутреню, возвратился из моленной, он стащил с головы старенький малахай и, ступив на половик, стал класть поклоны. Встала из-за стола бабушка, она тоже начала креститься. А я растерялся, я встал пообочь деда, возле его усыпанных еще не растаявшими снежинками, изрядно поношенных валенок, стоял недвижимо, мне было жалко брошенных в колодезь икон. Но я верил, что иконы не утонут, они ведь святые...

– Поздравляю вас всех, тебя, Овдотьюшка, тебя, Онисьюшка, – дед глянул на печь, но никого не увидев на печи, на какое-то время прервался, потом благоговейно, с прослезившимся умилением повторил свое поздравление: – Поздравляю всех вас с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа!

Бабушка приблизилась к божнице, празднично горящей лампаде и – пала на колени. А я почему-то глянул на огненно-красного бычка, мне подумалось, что есть какое-то сходство между Святым Младенцем и отмеченным той же Вифлеемской звездой, недавно народившимся телком, оба появились на свет в коровьих яслях...

Кто-то открывал дверь и никак не мог открыть. Думалось: старший брат Арсений, думалось: он напрягает свои силенки, но дверь открылась, через ее порог перешагнуло две пары лаптей и три пары валенок.

– Слава тебе, Христе Боже наш, – не в лад, но чисто-чисто, так, как могут причитать только детские голоса. Они и причитали, они и славили рожденного в коровьих яслях Младенца.

Дед не поскупился, двум мальчикам, что были в лаптях, дал по гривеннику, а трем девочкам, что были в валенках – по пятаку.

---

* Село на правом берегу Волги, недалеко от Красного Осёлка.

– Вы чьи будете? – спросила бабушка, но ответа не дождалась. Открылась дверь, по вымытому полу, бело клубясь, пополз мороз, он прикоснулся к смирно лежащему бычку, лип к его губам, потом дверь, скрипя, затворилась, прищемила приподнявшийся хвост нахально влезшему в избу морозу.

Анисья Максимовна уж больно любила почаевничать, посидеть за самоваром, но то, что она услышала от своей невестки, от дорогой Овдотьюшки, отбило не только от чая, но и от желания что-то сказать. Посредь белого дня свечерела Анисья Максимовна, омрачила свой светлый праздник, зато Петр Матвеич благодушно снял свой полушубок, пригладил редкие волосы, тронул тоже редкую бороду, обычно он не обращал внимания на свою старуху, на ее поведение, а тут взял да и спросил:

– Ты што, Онисья, захмурела? Грех в праздник Бога гневить.

– Я не гневлю...

– Кормила ли внука-то?

– Сейчас ватрушку подам, пущай ест.

Бабушка метнулась к печи, взяла в одну руку сковородник, другой открыла заслон, и через какую-то минуту на столе, румянясь запёкшимся творогом, духмяно дышала та самая ватрушка, которая так радовала все моё существо, я ведь шесть недель говел, шесть недель не брал в рот скоромного, довольствовался сухарями да похлебкой.

Помыл руки и – долго-долго молился, шептал вошедшие в мою детскую память молитвы.

Дед не переставал восхищаться моим усердием, он даже прослезился – от умиления.

– Овдотьюшка, ты видишь?

– Вижу, батенька, вижу, – отвечала сидящая у подтопка, убитая неслыханным богохульством несчастная женщина.

Я быстро набил свое брюхо зарумянившейся, разрезанной на крупные куски ватрушкой и хотел вылезть из-за стола, но дед придержал меня.

– Ешь досыта.

– Я наелся.

– И впрямь наелся, – заголив подол рубахи и похлопав по моему брюху, удовлетворенно проговорил мой благодетель, он вручил мне гривенник, сказав, чтоб я шел в лавку, чтоб я купил себе конфет и пряников.

V

Святки? Что за Святки? Откуда взялись эти Святки?

– А хто их знат, откуды они взялись, – так отвечала Марья Петровна, единственная дочь моего деда, она пришла из Великовского, пришла, как сама сказала, на Святки, но что такое Святки, сказать не могла. – Ты лучше спроси у дедушки.

Я спросил.

– Бесовское наваждение, – сердито проворчал дед.

Я покаялся, что обратился к деду, рассердил его своим любопытством.

Последователи Аввакума ревниво ограждали свое древлее благочестие не только от нововведений патриарха Никона, но и от пережитков язычества. Ежели мирская церковь уживалась с языческими атрибутами, приспосабливала их в угоду христианскому вероучению, христианской обрядности, древлее благочестие противилось всему тому, что не соответствовало догмату некогда воспринятого православия.

– Ты в лавку-то ходил? – осведомился забравшийся на свои полати, видать, немного прихворнувший дед.

Я не ходил в лавку, я не хотел тратить свой гривенник на конфеты и на пряники. Хотелось купить железные коньки, такие, какие я видел в Великовском на ногах одного сопливого пацана.

– Сходи, купи бабушке чаю.

Вот тебе и коньки!

Вышел на улицу. От обилия уже повернувшего на лето, но все еще студеного солнца заломило глаза. Я забыл сказать, что на зиму пять окон нашего полудомка (три по лицу и два по левой продольной стене) запележивались, забивались досками до верхней крестовины одинарной рамы, а за доски набивалась веяная мякина (полова), все это делалось для тепла. Тепло как-то держалось, но мало было света. В избе всегда было темно, сумрачно, потому-то и заломило мои глаза. Нужно было какое-то время, чтоб без всякой ломоты оглядеть заваленную снегом улицу. На снегу алмазно остро блистало, может быть, то самое лето, на которое повернуло солнце (солнце – на лето, зима – на мороз). Мороз, он особо давал о себе знать, зажатый в моей правой руке гривенник сразу охолодел. Тут-то я и пожалел, что забыл надеть связанные из овечьей шерсти варежки. Хотел было вернуться домой. Не вернулся, до лавки не больно далеко. Засунув обе руки в дырявые карманы ветхого пиджачишка, я выбрался на середину улицы, ступил на укатанную полозьями саней, заваленную конскими шевяками дорогу.

Лавка (кооперация) помещалась в кладовой Филимоновны, седой, согбенной прожитыми годами, совсем не деревенской, по виду приехавшей из города старухи. Продавцом (приказчиком) в лавке сидел Илья Филинов, младший сын Петра Степаныча Филинова, приятеля моего деда.

Илья Петрович сразу заметил меня, спросил: зачем я пришел?

– За чаем.

– Кому?

– Маме старой (так я звал свою бабушку).

– Спой песню.

– Какую?

– Любую.

И я спел.

Баба сеяла, трусила,
Ногу муха укусила,
Баба думала: клоп,
По ноге ладонью хлоп!

Илья Петрович мотнул головой, он знал, что я пел не так, как бы ему хотелось, но в нашем доме никто не произносил непечатных слов, даже отец никогда не ругался.

– Поругай мать.

Не помню – ругал я свою мать или не ругал, допускаю: ругал. Допускаю потому, что дед, бабушка с самого раннего возраста внушали мне, что мать моя – не моя мать. Остроушка, молодка, беглянка, вот те прозвища, которые надолго прилипли к моей матери. Мать мою не любили, не любил ее и мой отец. Почему? По какой причине? Я уже говорил, что родительница моя была из бедной семьи. Росла без отца. Замуж вышла не по своей воле, ее просватали. Просватали в шестнадцать

лет. Жизнь не складывалась. Да она и не могла сложиться, в том доме, в котором предстояло жить моей родительнице, жило четырнадцать душ: дед отделил только старшего сына да выдал дочь, все остальные сыновья со своими женами, со своими детьми ютились под одной крышей, по которой когда-то по-кошачьи ловко лазил Егор Петрович, тот самый Егор Петрович, что не преминул заглянуть в кладовую Филимоновны, наверное, соскучился по своему единомышленнику, Илье Петровичу.

– Ты чего здесь топчешься? – спросил меня мой дядя, спросил просто так, от нечего делать.

– За чаем пришел.

– За чаем... А не за конфетами?

Я замотал головой, великоватый малахай прикрыл мне глаза. Какое-то время я ничего не видел и не ожидал, что кто-то стащит с меня этот малахай, положит его на прилавок.

– Клади.

– Чего?

– Конфеты.

Егор Петрович, это он надумал облагодетельствовать меня, он попросил Илью Петровича «отпустить», пусть дешевеньких, но всегда желанных конфет.

От радости я забыл, что мне нужно купить чаю, с малахаем в руках вылетел из кладовой. Поначалу не ощущал того мороза, что именовался рождественским, я даже приостановился, оглядел широко раскинувшийся, осыпанный остро искрящейся кухтой, сказочно охрусталевший вяз, мне показалось, что я в каком-то сказочном царстве-государстве. А тут еще конфеты в малахае!

Повторяю: я не ощущал мороза, я был блаженно счастлив, но счастье так хрупко, что уберечь его трудно, взрослые люди, и те не в силах уберечь. Бабушка, мать моя, бабушки и матери моих сверстников всякий раз оплакивали свою долю, свое загубленное счастье.

Без всякого сомнения, я бы мог благополучно возвратиться домой, возможно, с прихваченными морозом ушами, возможно, с закоченевшими руками, но случилось так, что домой я возвратился с обильными, сосульчато застывающими на щеках слезами.

Святошники, я их увидел издалека, увидел тогда, когда распрощался с вязом, когда впритруску бежал к своей кладовой. Надо бы уторопить свой бег, но я не уторопил, захотелось – лицо в лицо – встретиться с этими святошниками, с ряжеными, как их еще у нас называют.

Лицо в лицо, не знаю, какое у меня было лицо, но, думаю, какое-то лицо было, были длинные, усыпанные неслышно упавшими снежинками, темно-русые волосы... Что касается идущей навстречь оравы, тут я ничего похожего на человеческий облик не увидел. Я видел, как, подпрыгивая, змеино извиваясь, двигался накрытый конусообразным, свитым из полосатой бумаги колпаком паяц, он вроде бы не заметил меня. Не заметил меня и тяжело движущийся на медной цепи медведь. Медведь был в овечьей шкуре, был и черт, с рыжей мочальной бородой, он кинулся ко мне, намереваясь боднуть меня своими рогами. Я не на шутку перепугался, ударился в бегство, но убежать далеко не мог, увяз в сугробе. Ко мне вплотную приблизилась мочальная борода, мои уши ощутили холод колючего снега и прикосновение лап наклоненного надо мной, теперь я уже не мог понять, настоящего или ненастоящего черта. Черт этот вытащил меня из сугроба и все тер своими лапами мои уши.

Домой я возвратился с красными (как петушиные гребешки) ушами и, конечно, со слезами. Дед спал на полатях, встретила меня мать. Забыл сказать: черт не взял мои конфеты, он их рассовал по моим карманам, а малахай нахлобучил на горящие от растертого снега пельмешки (уши).

– Где ты был? – допытывалась мать и, ударившись в слезы, начала причитать: – Господи, за што ты меня наказал, за какие прегрешения?

Я уже знал, я уже осознавал, что мать живет в поставленном на кирпичную кладовую кержацком доме только ради меня, она не раз говорила, что я связал ее по рукам и по ногам, что ежели б не я, она бы и не охнула, ушла бы на все четыре стороны. Потому-то, наверное, я и чуждался своей родительницы, уходил от нее, не подозревая, что никто меня так не любил, как мать.

– Руки-то, руки-то окоченели у тебя, – говорила она, утирая концом платка крупные, как горошины, слезы, – в холодную воду суй.

Я совал (в который раз) свои окоченевшие руки в цинковое (как будто прихваченное морозом) ведро.

За плотно прикрытой, обитой (в елочку) коротко напиленными дощечками, тяжелой дверью послышался топот заледеневших валенок.

– Кого нелегкая несет? – обернувшись к двери, проговорила мать.

Приподняла голову прикорнувшая на печи, чуткая ко всякому топоту бабушка.

Дверь жалобно всхлипнула, впустила в избу сперва белого медведя (бело клубящийся мороз), потом того самого медведя, которого я видел на улице, медведя в овечьей шкуре. Вошла в избу и баба-яга, в ее руках – печной заслон и мутовка.

Мать грустно – сквозь слезы – улыбнулась, она, наверное, сама не прочь взять в руки заслон. А если не заслон, так самоварную трубу, мутовку и – притопнуть... Не притопнула, батенька такого своеволья не потерпит.

Проснулась Марья Петровна, она спала на застланной лоскутным одеялом кровати. Увидев приведенного на медной цепи медведя, перекрестилась, осенила себя крестным знаменьем.

– Так что вы стоите? Пляшите, – пробаяла со своей печи бабушка, она вроде бы обрадовалась приходу неожиданных гостей.

Стукнулась – не рожками – искусно выточенным лобиком о прокаленное железо печного заслона сосновая мутовка, притопнула приподнятая в белом валенке нога, нога, должно быть, костяная, но она так молодо притопнула, что куда там бабе-яге, никакая баба-яга не могла так притопнуть.

– Да это... Кто это? – слезая с печи, удивленно пропела и впрямь обрадованная бабушка.

Шел по улице мороз,
Отморозил бабе нос,
Баба плакала, рыдала,
Нос свой снегом оттирала,
Снег крупи-итчатай,
Снег рассы-ыпчатай.
Этот снег – как смех,
Смех рассы-ыпчатай,
Смех крупи-итчатай...

– Да это Нюрка, – отойдя от неожиданно нашедшего страха, проговорила вставшая с кровати Марья Петровна.

– Чья Нюрка?

– Наша.

– Наша Аннушка?

– Она как будто...

Ах она, она, она
Засиделась у окна,
Загороженного,
Замороженного.

Аннушка, приподняв руку, стащила с головы темный старушечий платок, потом подошла к рукомойнику, смыла с лица печную сажу, и баба-яга преобразилась, явила такую басу-красу, что мать моя потупилась, вспомнила свою басу-красу, свою так рано загубленную молодость.

VI

– Вставай, отец приехал, – будила меня, встав на печной приступок, моя родительница.

Я приподнял голову, отца не увидел, увидел выпорхнувшую из своего окошечка кукушку. Кукушка самозабвенно начала куковать. Кукукнула девять раз, было девять часов вечера. Вспомнил святошников, потрогал натертые снегом уши, уши немножко ломило, но – к великой моей радости – они были целыми. Вспомнил гривенник, где он, куда он делся, этот гривенник, я не мог понять. Опосля догадался: гривенник я засунул в рот... Так неужели по чьей-то злой воле он попал в мое брюхо? Не на шутку перетрусил: что теперь будет с моим брюхом? Хотел приободрить его рассованными по карманам конфетами, но конфет не обнаружил, дырявые карманы не могли их сохранить, рассеяли по снегу.

Глянул на кровать, подложив под ухо туго схваченную обшлагом рукава дородную руку, спала Марья Петровна. Я обрадовался. Я всегда радовался, когда кто-то подолгу гостил в нашем доме, в нашей избе, даже теленок и тот радовал, он тоже спал неподалеку от печного приступка.

В широко открывшейся двери с хомутом в руках появился брат Арсений. Хомут нахолодал, я сразу ощутил этот холод, он легко приподнимался к печи. Надел валенки, пиджак и спустился к полу, к его вытканным из разноцветных тряпок половикам.

– Тятя приехал? – обрадованно спросил я своего брата, но брат не отозвался, он приставил к кровати хомут и опять ушел на двор. Я тоже очутился на дворе.

В тусклом свете фонаря разглядел отца, его опоясанный сыромятным ремнем пиджак и обмотанные белыми – из домотканного сукна – онучами ноги. Учуял прихваченный морозом запах сосновой коры. Посредине двора стояли сани с ровно распиленными плахами – отец привез из-за Волги дрова.

Хотелось увидеть Гнедого, Гнедка, как все звали уже пожилого, много поработавшего мерина. Я знал, что Гнедок в конюшнике, а в конюшнике темно. Поэтому лучше подождать утра, когда в маленькое окошечко конюшника постучится если не снегирь, так озябший воробушек.

Отец глянул на меня, но сказать ничего не сказал, он только кивнул на головки саней. На головках висели вожжи, я понял: вожжи надо смотать и внести в избу.

Я рад был, что отец заметил меня, дал мне какое-то дело. Я любил отца, но эта любовь была безответной, поэтому я готов был сделать что угодно, лишь бы заслужить, нет, не похвалы, какого-то одобрительного взгляда. Быстро смотал я веревочные вожжи, закинул их за спину, внес в тепло освещенной семилинейной лампой избы, вслед за мной с седелкой и ременными поперечниками в руках вошел брат, вошел, скользя заледенелыми лаптями, и отец, он сел на лавку, стал разматывать веревки, что красиво охомутали белые онучи.

А на столе, приподнимая до блеска начищенную крышку, пыхтел самовар, при свете семилинейной лампы он все так же похвалялся своими медалями.

Отец молчит, он завсегда молчит, редко обронит какое-то слово и то при крайней необходимости.

– А у нас Жданка отелилась, – чтоб как-то оживить безмолвно присевшего к самовару отца, пропела моя мать.

Отец глянул на огненно-рыжего, хорошо отпоенного бычка и вроде бы повеселел, вроде бы отошел от своих, никому неведомых, потаенных дум.

Прошло много-много зим, от моего родителя осталось две-три фотографии, и то последних лет его жизни, и то любительские. Такие люди не думали об увековечении своего пребывания на земле. Только работа, только труд, труд не ради собственного благополучия – ради врожденной, вседневной потребности трудиться, работать. Я никогда не видел, чтоб мой отец мучился от безделья, он всегда, при любых обстоятельствах находил себе какое-то дело, даже в праздники что-то делал. Я упомянул о фотографиях, упомянул потому, что мне хочется запечатлеть, воссоздать образ вечного труженика, умельца.

Все еще пыхтел, приподнимал свою крышку поставленный на стол самовар. Бабушка крутила тронутый ядовитой зеленцой кран, наполняла ровно струящимся кипятком фарфоровые чашки с изображенными на них китайцами, потом бабушка приподнимала чайник, сдабривала кипяток круто заваренным чаем, боясь, как бы не перелить. Скупилась бабушка, чай для нее был единственной отрадой, он врачевал, грел озябшую душу.

– Гриша, тебе подлить?

– Не нады.

Отец не был избалован ни чаем, ни сахаром, как и многие деревенские мужики, мог довольствоваться одним кипятком, благо рядом стоит солоница, лежит краюха черствого ржаного хлеба. Кружка горячего кипятка из самовара и щепоть соли, вот и все то, что удовлетворит отца в родном доме. Я видел – отец очень похож на деда: крупные руки, видимо, они не случайно тянулись к железной кружке, чайная фарфоровая чашка, как яйцо, раскололась бы в таких руках. Не скажу, чтоб отец был красив лицом. Вспоминаю слова матери: «Шестнадцать лет мне было, брат Василий (тот, что упал в колодезь), крестный мой, и говорит: "Маряшка, мы ведь тебя просватали..." А я не собиралась замуж-то выходить. Я и не думала ни о каком муже. Не поверила. Думаю – шутит. Но я знала: брат не любит шутить, спросила: за кого вы меня просватали? Не сказал. Только больше посерьезнел, помрачнел. И тут-то я глаза свои в слезы утопила. Хныкать начала. Покойница мать со двора при-

шла, она корове сена давала. Я всеми своими слезами закричала: меня и вправду просватали? Мать молчит, ничего не бает. А опосля-то сама зачала плакать... Сколько прошло, дней десять прошло. Зимний мясоед был, третья неделя шла. На третьей-то неделе и сам жених заявился. Я как глянула и – обмерла. "Не пойду, ни за што не пойду. Бейте, убивайте, все равно не пойду!" – кричу, реву на весь свет, а меня нихто и слушать-то не хочет. Волокут в красный угол, под божницу. Крестный снимает икону, приказывает: "Целуй!" Целую икону. А раз поцеловала – молчи, не кричи. А он, жених-то мой, глядеть на меня не хочет. Глаза воротит. А глаза-то студены-студены, никакого тепла в них ко мне нету. Лоб морщит, брови хмурит. Нос, как топорище, выгнулся. А под носом – рыжие усы. Волосы под горшок пострижены».

Да, отец не был красив лицом, но он был красив руками, умением трудиться. Выпив не с сахаром, с солью кружку кипятка, взялся за поданный матерью клубок суровых ниток. Я сразу понял, для чего потребовались нитки – для дратвы. Весь вечер отец сучил, смолил варом эти нитки. Я тоже был занят своим делом: метал стога, сеном служили вытащенные из-под кровати льняные хлопки, телегу заменял старый-старый лапоть. Был деревянный конь – единственная купленная в балагане детских игрушек реликвия моего детства, она была украшением не обремененного всевозможными сервизами деревянного комода.

– Ты забыл, Гриша...

– Што я забыл?

– Лошадь напоить нады.

– Напою.

– Я сама напою.

Я редко слышал, чтоб так ласково разговаривала со своим суженым мать, а мне всегда хотелось, чтоб в нашем доме, в нашей избе был мир, чтоб отец и мать не ругались между собой. Я боялся, вдруг кто узнает о той нелюбви, о той неприязни, которые уж больно часто омрачали мое небо.

Лошадь напоил мой брат Арсений, братка, как я его звал, он слез с печи, схватил помойное ведро, перелил в него из другого, чистого ведра колодезную, подогретую жарко натопленным подтопком воду и – на двор. Тогда-то я бросил метать стога, я тоже хотел было выбежать на двор, но придержала мать, она сунула в мои руки зажженный фонарь.

– Посветишь.

– Кому?

– Домовому...

Домовому я, конечно, светить не собирался, но я знал, что домовые боятся света, только в темноте они доводят до умопомрачения коней. Кони бьются о стены конюшника колоколами своих копыт. Бывает, домовые заплетают в тонкие косички конские гривы.

Я думал, что с фонарем в руках заявлюсь без всякого сопровождения в конюшник, но сзади шла мать, она зорко наблюдала за мной: фонарь-то я мог опрокинуть, мог поджечь разостланную по двору солому. С огнем-то не шутят, огонь-то без ног, но он шибко-шибко бегает...

Благополучно донес я свой фонарь до конюшника, а братка – когда это он умудрился? – уже вылил подогретую воду в колоду. Гнедок сладко чмокал губами, мочил их, как в речной протоке, в выдолбленной из липы, подвешенной к бревенчатой стене колоде.

В конюшнике было тепло, тепло исходило от того же Гнедка, от его дыхания, но по стенам, по пазам белел осклизший иней, повсюду

виднелась обильная изморозь, и вроде не Гнедок – изморозь надышала поднявшийся под самый потолок пар. Пар этот походил на пар речной полыньи. Посреди зимы дышало лето.

– Арсенька, слазь на сушилы, – обратилась к своему пасынку моя мать, обратилась ласково, что тоже редко бывало. Мачеха есть мачеха.

– Сена скинуть? – сразу догадался мой неродной брат, он мигом по круто поставленной лестнице влетел на сушилы, разбудил спящих на насесте куриц. Послышалось их кудахтанье, а празднично разнаряженный огненный петух ни с того ни с сего запел, закукарекал.

– Што тебя взяло? – удивилась подошедшая к сброшенному сену моя родительница.

Петух сам не знал, что его взяло, поэтому замолчал, перестал кукарекать.

Ах, как обрадовался Гнедок, когда он учуял положенное в ту же колоду сено, наверное, вспомнил наши заливные поемы, вспомнил занесенное глубоким снегом красное лето.

Возвратились в избу, я с фонарем в руках, брат с ведром, а мать с охапкой соломы, надо подостлать бычку, чтоб ему слаще спалось.

Долгие-долгие зимние ночи, я не знаю, что со мною сталось, ежели б эти долгие ночи не скрадывались сказками деда, бабушки, а иногда и сказками матери.

Козлятушки, детятушки!
Отопритеся, отворитеся!
А я коза в бору была,
Ела траву шелковую,
Пила воду студеную.
Бежит молочко по вымечку,
Из вымечка в копытечко,
Из копытечка в сыру землю!

Причитала мать, причитала так, что я приподнимал голову, слышал тонкий голос козы, видел ее избушку, а в избушке – малых детушек, малых козлятушек. И вдруг:

Вы, детушки, вы, батюшки,
Отопритеся, отворитеся!
Ваша мать пришла,
Молочка принесла,
Полны копытца водицы!

Нет, это не коза, это не ее голос, это волк, это он надумал обмануть малых козлятушек. А малые козлятушки разгадали обман, ответили волку:

– Не матушкин голосок! Наша матушка поет тонким голоском.

И опять тоненький голосок, похожий на голос козы. Обманул волк, поел волк малых козлятушек...

От такой сказки хотелось плакать, но сказка не была бы сказкой, если б она так печально кончалась. Прелесть и великая мудрость всякой сказки в том, что добро всегда торжествует над злом, свет над тьмой.

Упаслись козлятушки, выпорхнули из брюха волка.

Обрадовался разостланной по полу, свежо золотеющей соломе неразумный бычок, он даже взбрыкнул, мотнул ушастой головой, а когда

учуял поднесенное, только что надоенной бабушкой Анисьей молоко, прижмурил свое большие, выпукло темнеющие глаза.

Мать моя притушила и так не больно светло горящую лампу, – надо экономить керосин. Отец молча лежал на кровати, на высоко взбугрившемся, набитом соломой тюфяке. Дед лежал на полатях, тяжело вздыхал. Марья Петровна стелилась возле подтопка. Когда едва заметный язычок света совсем пропал, я примостился к разостланному теткой Марьей, воняющему овечьей шерстью тулупу.

Не могу сказать, по какой причине я все время тянулся к ночующим в нашем доме, часто совсем незнакомым мне людям. Вот и тетка Марья, она не обращала на меня почти никакого внимания, но я взял да прилип к ее постели, к ее дыханию, а она, эта тетка Марья, положила свою руку на мою голову, стала гладить густо отросшие волосы.

– Отудобел...

– Хто отудобел?

– Ты.

Я долго не мог понять, о чем тетка Марья завела речь. Отудобить – значит, оправиться от какой-то болезни, от какой-то хвори, но ведь я не болел, не хворал...

– Хочешь, сказку расскажу.

Еще бы не хочу! Но я так много слышал сказок, что опасался повторения. Мне думалось: дед, бабушка да и мать уже пересказали все сказки.

– А о чем расскажешь?

– О горицвете.

Сказок о горицвете я не слышал. Да что это за сказка о горицвете?

– Зима лютовала, морозами страшенными грохала, такими морозами, что птицы на лету гибли. Воробушек поднимется, затрепещет крылышками и, как шевячок, упадет на дорогу али присядет на застреху, глаза зажмурит, вроде бы в сон упадет. Глупенький, не знал, видно, не ведал, што в такую студь нельзя в сон уходить. Человек и тот может загубить себя, замерзнуть, а воробей-то и подавно. Сядет на яблоньку и с яблоньки, как яблоко, упадет. В сугробине, в мятюжине замогилит свои крылышки. На што сороки и те страшились, не показывали своего хвоста. Не страшилось только солнышко, оно показывало свой лик, правда, ненадолго. Выглянет, привстанет над сугробами, над мятюжинами и – наутек, за сараи, за овины уколесит. И тогда-то знаменье небесное тремя столбами возвысится. Мороз-то еще больней расхрабрится.

«Отец, ты слышишь меня?» – «Слышу, слышу». То жена мужу так говорит, так бает. «Ты в лес-то поедешь?» – «Поеду, поеду...» Не хотелось мужику ехать в лес, но ничего нельзя поделать, нады ехать. Покоя никакого нет, грызёт и грызёт глупая баба, поедом ест. Надумала она избавиться от падчерицы, выжить ее из дому.

Собрался мужик в лес, запряг лошадь, сена наложил. А коли вожжи взял в руки, к дочери, к ее красе-басе обратился, сказал, чтоб в сани садилась. Села. А ведать – не ведает, куды конские кованые копыта застучат. Спросить бы, да не привыкла спрашивать. Молчать привыкла... Взвизгнул под полозьями в муку размолотый, расхрабрившийся морозом глубокий снег, будто стеклорез полоснул по стеклянной выбели.

«Куды ты меня везешь?» – не утерпела, спросила свово родителя напуганная огненными столпами, тихонькая краса-баса. Отмолчался, ничего не сказал родитель, только, оборотясь, блеснул заледенелой

слезой. Блеснуло чистой-чистой слезой небо. Оно еще не стемнело, не смеркло. Видно было, как стая волков выходила из лесу. Попередь шел самый старый волк. Он разинул пасть и зачал выть. Выл так страшно, что лошадь придержалась, потом ее прошибло. Дымом взялась, дымом вся окуталась. Мужик кнутом стал хлестать. Хлестал, хлестал, а все без толку – лошадь ни на шаг не сдвинулась. «Што будем делать, Зорянушка?» – стал пытать свою дочь до смерти напуганный отец. Зоряна словом не обмолвилась, она сама не знала, что можно сделать, чем унять волчий вой, волчью сыть. Домой бы возвратиться, да нельзя, глупая со свету сживет. «Слезай, Зоряна, – говорит отец, – лес недалече, пешком дойдешь». Слезла с саней, глянула на отца, а отец мешок сухарей из-под сена вытащил. «Возьми»,– говорит.

Взвалила Зоряна мешок за спину и подалась к лесу.

«Прости меня, доченька», – сказал на прощанье отец и опять блеснул, теперича двумя слезами, из обоих глаз выкатились. Жаль нахлынула. Что ни говори, своя кровь, своя ягода. Думал, не отзовется, а она отозвалась, обернулась. «Бог простит», – сказала, сказала так, что родительское сердце запало. Знало оно: не по своей воле, по воле мачехи посредь поля свою кровь, свою ягоду оставил... Месяц народился, как петушок своим клювом проклюнулся. Кукарекнуть бы, да не может, больно мал. А она, Зоряна-то, до лесной опушины дошла. По колено в мятюжинах вязла, полны валенки снега набрала. Робко-робко светился месяц-то. И тогда-то голос послышался, стал вопрошать: «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?» – «Тепло, – отвечает девица, – тепло», – отвечает красная.

Мороз обрел голос-то, он вопрошал. Надумал усыпить Зоряну-Зоряницу, сном околдовать надумал, на глаза кухту да иней стал сыпать. Отяжелели глаза-то. Встать бы, да ноги одеревенели. Перемогла себя, через силу приподнялась. В глубь леса поволоклась, промеж берез двигалась. Молчали березы-то, не шумели, не стучались друг о дружку. И вроде бы дорогу уступали.

Долго ли, коротко ли, но добралась до глубокой овражины. В затишь зашла. Мешок с сухарями со спины скинула. Думать зачала: в затишито можно и переночевать.

«Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?» – теперича уже не мороз, теперича вроде бы сам лес вопрошает. «Тепло,– отвечает девица, – тепло», – отвечает красная.

А и вправду теплее сделалось. А еще сквозь лесную сумеречь избушка своим окошком засветилась. Сперва подалеку от овражины, от ее затиши.

Мысль пришла: постучусь-ка в это окошечко...

Как помыслилось, так и сделала: постучалась. Сперва потиху. На тихий стук никто не отозвался. Потом погромче, посмелее стукнула. И тогда-то стариковский голос послышался. _

«Заходи», – сказал старик.

Зашла. Огляделась. Ничего подозрительного не увидела.

«Хвораю я», – признался старик, а спросить не спросил, что за человек пожаловал в его избушку. А в избушке-то шаром покати. Пусто. Один котелок у печи стоял да две-три картошенки круглились.

«Затоплю-ка печку, – думает Зоряна, – што-нибудь сварю. Старик-то не емши, наверное, лежит».

Сходила за дровами. Затопила печь. Старик обрадовался, коли тепло услышал, коли под ним кирпич стал нагреваться.

«Отколи тебя Бог послал?» – не утерпел, полюбопытствовал одинокий обитатель лесной сторожки.

Ничего не сказала Зоряна. Не хотелось омрачать уж больно дружно запылавшие дрова. Николи не ведала, чтоб они так весело горели. Дома, у мачехи все чадят, все дымят…

Печь истопила, картошки наварила. Старика накормила. И – спать улеглась. Сквозь сон стук услышала. В дверь кто-то стучался. Заяц стучался, погреться просился. Впустила. Отогрелся заяц, повеселел, ноздрями слышнее задышал. Вроде бы капусту учуял, глаза в подпол косил. В подполье-то и вправду была капуста. Слазила в подполье, достала капусту. Накормила косоглазого. Поблагодарил косоглазый свою благодетельницу, а опосля на волю попросился. На воле-то неделю пропадал. Не знал, что в избушку лиса заглядывала, волк заходил. А как-то раз по павечери медведь пожаловал. Надоело в берлоге-то, на огонек потянуло. Жаловался Михайло Иваныч: уж больно студена зима-то, уж больно долго тянется. Лежал на одном боку, перевалился на другой бок. И на другом боку не лежится...

А больше всего зима-то докучала птицам. Сороки, галки, вороны – все они в лесу укрывались. В лесу прятались синицы, голод их донимал. Прилетит синичка-сестричка к лесной избушке и, как льдинка о льдинку, звякнет, голос свой подаст. Выйдет Зоряна-Зоряница с полными пригоршнями раскрошенных сухарей. Сухари-то сгодились: сама кормилась и синичек кормила.

Дзинь-дзинь – звенит синичка, сперва робко-робко звенит. Как будто боится, кабы не навлечь на себя какой беды. Только беды-то поблизости не было. Зима смягчилась, перестала морозами-то грохать. Тогда смелее льдинка о льдинку зачала звенеть. Осмелела синичка-сестричка, осмелел ее голос.

Дзинь-дзинь-дзинь! – звенит синичка, звенит так, что хозяин лесной избушки с печи слез, к окошку придвинулся. В окошко уставил свою бороду.

Ростопель-то в лесу чуялась, каплюжить зачало. Все деревья воспряли духом, ожили, слышнее задышали. Березы розовыми сделались. А там, где земля из-под снега показалась, горицвет вспыхнул.

Сказка неожиданно прервалась, тетка Марья посчитала, что я не слушаю её. А я слушал, поэтому попросил продолжить сказку, досказать.

– Завтра доскажу.

– Почему завтра?

На вопрос мой отозвалась кукушка, она высунулась из окошечка и начала куковать. Кукукнула двенадцать раз. Сказала: спать пора...

VII

Наш полудомок не был утеплён, не был ухичен, он быстро остужался, даже натопленный на ночь подтопок не мог отдышать (своим теплом) залубеневших от мороза, запележенных окон, особенно холодно было к утру, когда поднимался, слезал со своих полатей дед, когда он подходил к рукомойнику, брал его за глиняное рыльце, клонил к деревянной лохани, чтоб омыть свой лик колодезной водою, но вода заледенела, не лилась, дед тяжело вздыхал, неохотно отходил от рукомойника к столу, ненадолго присаживался, потом, привстав, начинал будить угретую печными кирпичами бабушку.

– Онисья, вставай! Хватит спать-то…

– Опять встал ни свет ни заря, опять не даёт никакого покоя, – жалобилась в захолонувшую темень бабушка Анисья, но жалоба обычно не воспринималась.

– Люди-то давно встали, – пытался урезонить Анисью Максимовну рано проснувшийся Пётр Матвеич, он несколько раз подходил к печи, всё впустую, с печи никто не слазил, только я отзывался на раннюю побудку, может, потому-то и возлюбил меня мой батя-батенька.

– Кто рано встаёт, тому бог подаёт, – часто повторял он всем известную пословицу, повторял не ради назидания, а просто так, из-за любви к подтверждённой самой жизнью, неоспоримой истине.

В моей памяти навсегда запечатлелось то раннее зимнее утро, которое умильно слезилось огоньком только что зажжённой лампадки. Огонёк этот показался горицветом из недосказанной сказки, благо что я ничего не заспал, видел Зоряну-Зоряницу, видел такой, какой виделась неродная (по матери) сестра, которая была моей няней, которую я жалел, жалел потому, что я уже заметил всю неприязнь, всю несправедливость, какую может явить жизнь. Бабушка и Марья Петровна старались заронить в мою душу сострадание, оно, это сострадание, пожалуй, больше всего печалится в наших российских сказках...

– Озяб? – оборотясь к моим очнувшимся от больно сладкого сна глазам, проговорил обрадованный тихо слезящимся огоньком лампадки неугомонный старик, петух-полуночник, как в глаза и за глаза звала его бабушка Анисья Максимовна.

– Я сейчас за дровами сбегаю, – так сказал я, когда услышал голос петуха-полуночника.

Сунул свои босые ноги в дырявые в пятках валенки и без шапки, в одной рубашонке очутился на дворе, возле поленницы крупно наколотых дров. Набрав целое беремя тяжелых берёзовых поленьев, благополучно возвратился к тому самому подтопку, возле которого я прокоротал успевшую обутреть длинную зимнюю ночь.

Березовые поленья так слышно грохнулись об пол, что прикрытая ветхой одеялкой Марья Петровна подняла голову, не понимая, что за оказия приключилась, а когда поняла, опять с головой упряталась под одеялку.

Я засовал в подтопок только что принесенные дрова, открыл сторонку (заслонку), потом взял лучинку и с разрешения деда поднёс её к тихо горящей лампадке, лучинка, потрескивая, загорелась. А вскоре загорелись и засунутые в подтопок березовые поленья.

– Может, керосином плеснёшь?

Я удивился: лишнего керосина в нашем полудомке не было, дед сам попусту не жёг его, часто сидел при едва вывернутой тесьме, при тускло горящей, семилинейной лампушке, а тут – на тебе – не поскупился, наверно, посчитал, что принесённые мною поленья сразу не воспылают пламенной любовью к его старым косточкам, не растопят лёд в глиняном рукомойнике.

А они, эти поленья, воспылали сразу, сразу занялись, сухо потрескивая воняющей дёгтем берестой.

Вспоминая дни и ночи своего давнего-давнего малолетства, я не могу не удивляться той бедности, в какой пребывали близкие мне люди, ратаи, оратаи русской земли. И – что удивительно! – произошла великая революция, которая в корне должна была изменить весь уклад давно окондовевшей жизни, но особенно памятных изменений не произош-

ло: те же запележенные окошки, те же промёрзлые пазы, те же набитые чёрными тараканами щели, тот же поющий от дружно горящих дров подтопок. И всё-таки я не буду наводить тень на плетень. Больше того, упомянутая мною бедность обогатила меня такими впечатлениями, какие я не мог бы получить в иной обстановке. Без худа не бывает добра, ежели под добром разуметь всю мою последующую жизнь, полную всевозможных превратностей.

А как он весело поёт, сложенный чьими-то добрыми руками подтопок! Чугунная с барельефно отлитыми конями дверца уже успела раскалиться. Я хочу открыть её, но – поди открой – не откроешь, не прикоснёшься, запряженные в колесницу кони скалят зубы, больно кусаются...

Встала, слезла с печи бабушка, она тут же ухватилась за рукомойник и – ополоснулась только что оттаявшей, ещё не потеплевшей водой. Ополоснулась, утёрлась концом своего платка, потом осенила себя крестным знамением.

– Печь затапливай, – проговорил дед, проговорил так, что бабушка развела руками, недовольно огрызнулась:

– А я не знала, что надо печь затапливать, ждала, коли скажешь, коли прикажешь.

Замычал бычок, молока захотел, но молока не было. Бабушка взяла дойник и, накинув на себя шубейку, выкатилась во двор, присела к бело раздутому вымени припорошенной инеем коровы. Я видел (я вслед за бабушкой выбежал на нижний мост), как корова, как наша Жданка скосила свои большие с яично выпуклыми белками глаза. Глаза эти – как два омута неизбывной печали. Не знаю когда, но я уже успел приметить какое-то предназначение во всяком коровьем взгляде. Омутовато-глубок, полуночно-тёмен был взгляд нашей Жданки, как будто в её глазах отразились все невзгоды несуразной жизни крестьянской Руси. Было в глазах нашей Жданки и то непорочное святое благолепие, которое так зримо запечатлено на иконах древлего письма. Глаза святых великомучениц похожи на коровьи глаза. Сама Богоматерь взирает на мир коровьими глазами, так мне казалось, так представлялось.

– Набери дровец, – сказала мне бабушка, когда она учуяла моё дыхание на присыпанном снежинками, оледенелом мосту. Но я всем существом прилип к недвижимо стоящей Жданке, любовался небольшими, красиво загнутыми рогами. Три кольца, три – хорошо ли, плохо ли? – прожитых года выпукло круглились на рогах. Я не забыл. Я помню, когда Жданка появилась на свет. Появилась на второй неделе Великого поста, а это значит: она могла рассчитывать на более полное ведёрко только что надоенного молока. И – что главное – не разбавленного тёплой водицей. Бог Саваоф установил Великий пост только для потомков Адама и Евы – как наказание за тягчайшие грехи. Может, потому-то я так рано стал завидовать всякой безгрешной твари, всякой непорочной душе.

Увитые тремя прожитыми годами рога недвижимо застыли над окаменевшими шевяками, а утыканные белыми от мороза ресницами, омутовые глаза сладко прижмурились. Жданка давно ждала подставленного под её отяжелённое молоком вымя оцинкованного дойника. А когда бабушка закрыла в своей пухлой горсти один из сосков, я видел, как в разжмурившихся глазах что-то радостно вспыхнуло, их тёмный омут что-то повернуло, приподняло, а потом повернуло к присевшей на корточки бабушке, к её старенькой шубейке. Корове, наверное, показалось, что к соскам её вымени прикоснулся тёплыми губами

бычок-белолобыш, а когда глаза коровы увидели пухлые пальцы моей бабушки, послышался еле уловимый вздох. Вздох этот выражал неизбывную печаль о куда-то исчезнувшем бычке-белолобыше и примирение с уготованной судьбой...

Долго, не меньше четверти часа, поначалу звонко, как дождь о железную крышу, стучалось о чисто вымытое дно дойника, голосисто пело Жданкино молоко. На какое-то время мне показалось, сыпался снег, сыпался из-под пальцев моей бабушки, может, потому-то я забыл об уложенной под избой поленнице, забыл о дровах, которые я должен набрать, принести к остывшей за ночь, угрюмо притихшей печи. Меня потянуло на улицу, за неплотно прикрытую сенную дверь.

Сыпался снежок. Моё воображение не обмануло меня: сыплющийся снежок – как молоко. Синеватая белизна снега – как белизна парного молока. И – что примечательно – свежесть снега и свежесть парного молока вызывали одинаковые ощущения, одинаковые восприятия. Предполагаю: это восприятие, по всей вероятности, навеяно синеватой белизной зимнего утра. Утро-то уже успело выбрезжиться, наверно, уже взошло солнце, но солнце не могло пробиться сквозь обильно падающий снег.

Закукарекал петух, не зря закукарекал: погода-то переменилась, смягчился мороз. Всегда так бывает, когда начинает порошить, мороз слабеет, перестаёт щипать уши.

Не знаю, окликала ли меня бабушка, может, и окликала, но я не слышал, я уже вытащил салазки, взобрался на бугор, катился с бугра...

Умиляюсь, не могу без умиления повествовать о той, теперь невозвратно далёкой, до слёз, до замирания сердца памятной поре моего раннего пребывания на белом свете, оно – это моё пребывание – по своей вопиющей бедности во многом походило на те картины, которые в красках и слове явили наши русские художники.

Вот моя деревня,
Вот мой дом родной,
Вот качусь я в санках
По горе крутой.

Нет, не из букваря вошли в моё сознание эти удивительные по простоте строки, услышал я их из уст Ивана Васильевича Пермякова, услышал тогда, когда катился с припорошенного свежим снежком, заледенелого бугра, а бугор, он возвышался рядом со двором Ивана Васильевича, которого всё село звало стражником. Слово «стражник» страшило, но вышедший из приземистой, крытой железом избы, старый человек с белой-белой бородой не вызывал во мне никакого страха, а пропетые им стихотворные строки как-то прибодрили меня. Я приподнял руки, готов был взлететь к небу. Не взлетел. Не взлетел потому, что увидел свою родительницу, свою мать.

– Сейчас же домой! – вскричала моя родительница, вскричала так, что я вместе с салазками кинулся под гору, туда, где коряжисто стояли, возвышали себя три ветлы. Домой идти не хотелось, уж больно вольготно было на улице: сыпался снежок, мягко ложился на уши моего малахая, услаждал мои губы. Я сам ловил этот снежок своими услаждёнными губами.

Неохотно возвратился к ступенькам крыльца, возвратился потому, что боялся прогулять завтрак. Но так случилось: завтрак я уже прогулял.

У ревнителей древлего русского благочестия приём пищи осуществлялся в строго определённое время. Совершался семейно, никто не ел в усобицу. Завтрак, обед, ужин проходили под строгим надзором старшего в семье. Строго соблюдался порядок, ритуал: помой руки, потом подойди к столу, воззрись на образа, сотвори молитву, поблагодари всевышнего за дарованный им хлеб.

– Где ты пропадал? – спросила выглянувшая из чулана бабушка Анисья Максимовна, она знала, что я проголодался, знала и то, что согласно заведённому порядку, мне до самого обеда придётся сосать пальцы, быть с пустым брюхом.

Я ждал, что скажет дедушка. Дедушка ничего не сказал, он сидел у запележенного окна, примостясь к углу застланного браной холстиной обеденного стола. Другого стола в нашей избе не было. Дедушка листал божественную книгу, он был в шубнике, седины его редкой бороды тускло индевели на овчине заношенного охабня.

– Прогулял завтрак-то! – нет, это не дедушка, это отец проговорил, проговорил, не поднимая головы, не отрываясь от остро наточенной и умело разведённой пилы.

Я радовался, я редко замечал, чтоб отец обратил на меня какое-то внимание. А как я хотел, чтобы мой родитель что-то сказал мне! Я готов был что угодно сделать, подать брусок, подпилок, рубанок, фуганок...

Отец – я заметил – был обут в те лапти, в которых он приехал из-за Волги, из неведомой мне Пенякши. Неужели он опять на целую неделю, а может быть, и две недели покинет свой родной дом?

Бабушка поставила на стол светящийся медалями самовар.

– Наливай, Гриша...

А Гриша приподнялся с продольной скамьи, широко шагнул к печи, бережно – как большую рыбину – опустил на печной приступок пилу. Послышался умиротворяющий звон, по которому можно было судить, что пила осталась довольной, зубы её остро блестели...

К самовару никто не подсел, даже дед недовольно покосился на его медали и ничего не сказал, уткнулся в книгу.

– Поехали! – не входя в избу, прокричал в приоткрытую дверь мой старший брат Арсений.

Я недоумённо встал, не зная, что остро наточенная пила скалила свои зубы на те берёзы, которые я заприметил в пору поспевания ягод, когда вместе с матерью ломал развесистые, с липкими пахучими листьями ветви на банные веники.

VIII

Я сижу в головках саней на охапке присыпанного лениво падающим снежком духмяного сена. Я вижу мать, отца, брата Арсения не вижу, брат стоит за моей спиной, держит в руках пеньковые, свитые отцовскими руками, туго натянутые вожжи. Гнедок ускоряет шаг, он заметно прибодрился, рад, что трусит по хорошо знакомой, укатанной дороге. Дорога не переметена, не перехвачена снежными застругами, она ровно скользит по замятюженному полю, утыканному приметными вёшками. На одной из вешёк я увидел сороку. Сорока не удивила меня, вот волка бы увидеть...

– Не озяб? – Я вздрогнул, я не думал, что мать моя о чём-то может спросить меня, обернётся ко мне и обласкает налипшими на глаза снежинками.

Довольно рано, пожалуй, годам к четырём, я стал замечать красоту человеческого лица, но – почему? не знаю почему – не мог заметить той красоты, которую являло – да так зримо – лицо моей родительницы. Оно обернулось ко мне, это лицо, разогретое лёгким морозцем. Обрамлённое серым шерстяным платком, оно долго-долго ласкало меня влажными от тающих снежинок глазами.

Я часто видел на материнских глазах слёзы, чаще всего слёзы горчайшей обиды. Но вот совсем неожиданно вижу иные слёзы, слёзы умиления. Мать умильно смотрит, и не только на меня, смотрит она и на сороку, что сидит на убелённой падающими снежинками, косо воткнутой вёшке, смотрит и на волнисто замятюженное поле.

– Не озяб? – ещё раз попытала мою душу умилённо смотрящая душа.

Нет, я не озяб. Может, потому и не посчитал нужным что-то сказать, как-то отозваться на озабоченно пропетые слова.

Проехали мимо старого-старого вяза. Вяз раскинулся неподалёку от нашего загона. Я хорошо запомнил этот загон, на его борозде, на его тёплой ладони во дни изнурительной страды, которая именовалась жнитвом, спознался я с солью обильно пролитого пота. Соль эта бело индевела на отцовской рубахе, индевела она и на материнской, усыпанной белым горошком кофточке.

– Не знаешь ты, какие я муки приняла с тобой, – назидательно говорила мать, когда взрослея, я проявлял какое-то своеволие, – бывало, заверну тебя в холстину и – в поле. В одной руке серп держу, другой тебя несу. Ладно ежели загон близко, а ежели далеко, где-нибудь за Берёзовым врагом*, тогда не больно сладко. Одна дорога все силушки вымотает. А отец-то, ты знаешь, как он ходит. Бегом беги и – не догонишь. А отстать-то стыдоба заест, я ведь молодая была. «Гриша, сбавь шаг-от!» – кричу. Не сбавляет. Как на пожар несётся. Уж больно жадный он, отец-ат твой, до роботы. Я ни разу не слыхала от него тех слов, что многие люди говорят, дескать, работа не волк, в лес не убежит...

Мать прервалась , я понимал, как ей тяжело вспоминать те дни, которые выматывали последние силы. На жнитве, на молотьбе и на иной тяжелой работе.

– Дотащусь до загона, сброшу тебя с руки-то и – к постати**. Постать-то шагов пять шириной-то. Примерно третья часть загона. Пробую свой серп – слава богу – гоже берёт. Берёт-то гоже, да сердце-то не на месте. К твоей холстине всё оборачивается, разрывается на части, за тебя боязно и серп-ат не бросишь, с постати-то не уйдёшь, тянуться нады. Отец-ат твой, он как зверь, всё поле мог сграбастать в свою пятерню. «Гриша, передохни!» Куды там, до передыха ли. Горсть за горстью кладёт. Далеко ушёл от меня. А ведь постать-то в два раза шире моей. Зверь, чистый зверь!.. Оступаюсь, на ногах не могу устоять, в поту вся. Глаза потом залило. Гляжу и – ничего не вижу. О тебе забеспокоилась, к холстине твоей бегу. А ты уткнулся в землю и – ни гу-гу. Думаю: задохнулся. «Господи, прости мою душеньку, виновата, не углядела», – взмолилась, подняла залитые потом глаза к небу. Неба не увидела, увидела солнышко. Оно во всё небо расплылось. Беру тебя на руки, беру ровно рисаное зернышко. Слышу: сердце в тебе колотится. Значит, смилостивился Господь, отвёл беду

---

* Берёзовый враг – лес, заросший берёзами овраг.

** Постать – часть загона, которую, сжиная, гонит жнец.

от моей душеньки. Вынимаю грудь, даю тебе, а ты отворачиваешься. Молоко-то с потом перемешалось...

Я долго держу в своих глазах красиво развесившийся, опушённый снежинками вяз. Под его сенью – когда? я не помню, когда – моя родительница поднимала меня на ноги своим молоком. А может, своим потом? Может быть. На какое-то время я смежаю глаза, и мне кажется, выскальзывающее из-под полозьев саней поле убелено не снегом – оно убелено солью отцовского и материнского пота.

Зимой не так уж часто можно ощутить солнце. Восходя, оно не поднимается выше дерева, выше того же вяза, прячет себя за дворами, за сугробами, не желает, не хочет «мозолить» чьи-то досужие глаза. Пожалуй, только с середины зимы начинает казать свой лик. Солнце – на лето, зима – на мороз. Так говорят об этой поре. Но бывает так, когда мороз утихает, а солнце, возвышаясь, ещё не может отдышать заледенелой полыни. Сквозь лениво падающий снежок оно печально взирает на замятюженную землю. Не знаю, то ли печаль повернувшего на лето солнца, то ли близость околдованного зимней спячкой, сказочного леса оживила меня. Мне хотелось спрыгнуть с саней и без дороги, по глубокому мятюгу приблизиться к вышедшим из глубокого оврага, уж больно любопытным ко всему, что происходит на белом свете, по-девичьи стройным берёзам.

А дорога пошла под уклон, вот-вот она развалит на две половины берёзовую чащу, скатится в глубь оврага, туда, где не замерзает примеченный мной невеликий ручей.

– Лиса! Глядите, лиса! – это брат Арсений, это он первым увидел вышедшую из лесу кумушку.

Я вскочил на ноги и, держась за головки саней, припал широко раскрытыми глазами к тому полю, что именовалось Репищами*, но лисы не мог заприметить, только поле, только одно оно покато стелилось, слепило блистающей на солнце, ровно разостланной белизной.

– Мышей вынюхивает, – без удивления, как-то обыденно проговорил отец.

– Кто вынюхивает?

– Рыжий кот.

Я прикусил язык. Стало горько-горько. Горько потому, что я опростоволосился, услышал из уст обожаемого мной отца язвительно прозвучавшие слова. В горле что-то застряло, стало душить меня.

– И не боится, – пробаяла устремлённая в выскользнувшие из-под саней всё те же Репищи недвижимо сидящая мать. И она увидела смело мышкующую лису.

Думаю, не так уж много прошло времени, когда и я узрел хитрющую зверюгу, но мне казалось, что я долго-долго пребывал в ослепляющей белой-белой темени...

Огненно-рыжая, с пышно волочащимся по свежему снегу хвостом, мышкующая лиса вкрадчиво подобралась к едва приметному бугорку. Чуяла лиса, что увиденный ею бугорок таит пусть скудную, но по зиме, по её бескормице, давно желанную пищу.

Дорога спустилась в овраг, к тому невеликому ручью, что был мною примечен по пролетью, когда я вместе с отцом ходил осматривать нашу

---

* Репищи – трудно уяснить этимологию этого слова, его происхождение. Возможно, есть какое-то родство со словом репей, со словом репица – это в лапшу изрезанная кожа на кнуте пастуха.

делянку*. Я видел, как отец подходил к только что облистившимся берёзам, вырубал на них свою метку. А я стоял запрокинув голову, глядел на сорочью пестрядь берёзовых стволов. Стволы эти – как серебряно льющийся дождь. Да, да, берёзы, они – как дождь, они – как серебряный ливень. Детское восприятие, оно не может быть без уподобления, без образного видения. А когда я встал с охапки сена, когда очутился возле продышавшего своё окошечко, не прихваченного морозом ручья, те же самые берёзы показались мне ровно падающим снегом.

– Есть-то хочешь? – подойдя к облюбованной мною, поющей шелушащейся корою берёзе, спросила меня моя родительница.

Есть я хотел, я ведь не завтракал, но я не мог есть в усобицу, потому отказался от вынутой из-за пазухи пресной лепёхи.

Подрастая, я очень много доставлял горя моей родительнице, и это было нестерпимо больно. Но ничто не могло погасить великое полымя материнской любви. Часто, очень часто любовь эта не воспринималась мной, я хотел, чтоб моя родительница так же любила, как и меня, своего пасынка, свою падчерицу. Не могу сказать, может, дед, а может быть, бабушка пробудила во мне это бескорыстное чувство. Впрочем, нет, оно родилось со мной. Пробудить можно какую-то страсть, но нельзя пробудить какое-то чувство.

Вынутая из-за пазухи лепёха была бы съедена, если б кто-то разломил её на две равные части.

Милая моя, моя незабвенная страдалица, мать моя, через много-много лет, на закате полной разными превратностями жизни, я вспоминаю и запечатляю в сущности-то ничем не примечательные события. Да и не события, скорее всего быстротекущее время, его половодье. Запечатляю не ради удовлетворения какого-то тщеславия, не ради поучения или назидания. Иные помыслы владеют мной. Возможно, в меру сил мне посчастливилось воссоздать некую картину бытия. Пусть эта картина не будет выставлена для всеобщего обозрения, она живописуется не для вернисажа, хорошо, ежели попадёт в какой-то запасник, в какую-то кладовую. Кладовая человеческой памяти да сохранит мой холст, моё полотно...

Я долго стоял в снегу берёз, мраморно-белый, поющий своей берестой, девственно-чистый снег завораживал меня. Я забыл о смирно стоящем, накрытом старым чапаном Гнедке, забыл о матери, об отце, о брате Арсении. По всей вероятности, я так бы и пребывал в белоснежном сне, если б не жидко пролившийся треск.

– Клёстиха! – услышал я голос своего брата.

Открыл прикрытые снежинками глаза, увидел жидко пролившую свой треск, чем-то встревоженную птицу.

Птицы в зимнем лесу, они как вестники не убитой морозом, вечно торжествующей жизни. Не так много этих не избалованных заморским теплом птах: снегири, поползни, клёсты, синицы... И, конечно, совы, филины, глухари. Не упоминаю воробьёв, в отдалённом лесу их почти не бывает, не бывает сорок, ворон, воронов, галок. Все они предпочитают держаться поближе к жилью.

Не упомянул, забыл дятла. А я услышал его, нет, не над головой, в стороне, там, где коряжился старый, с усохшей макушиной дуб, услышал дробный – с перерывами – стук. Стук походил на дробь, которую

---

* В двадцатые годы так же, как и поле, отведённый на порубку лес делился между сельскими жителями. У каждого крестьянина в поле был свой загон, в лесу – своя делянка.

рассыпал по деревянной, похожей на стул солонице мой дед, когда садился за стол, а в солонице не было соли.

Я оборотился к дубу, поднял глаза, увидел, как по охлипшему, утончённому к макушке стволу стукал дятел, он свесил длинный сизо переливающийся хвост. Хорошо были видны под красными надбровьями круглые, в жёлтых обводах, глаза. Нельзя было не заметить воронёное долото клюва.

Я загляделся, даже не заметил, как неподалёку, накренясь к овражине, к тому окошечку, что отдышал незамёрзший ручей, тяжело валилась ровная, без единого сучочка, береза. И только тогда, когда она окунула свою макушину в глубокую сугробину, я оторвался от дятла, увидел макушину берёзы и стоящего у обмятого, свежо круглящегося пенька отца. В его руках воронела опущенная одним концом к шерстяным, перевитым мочальными верёвками онучам остро блеснувшая своими зубами пила. Увидел я и смотрящую на поваленную берёзу мать. Я не мог не заметить выражения отцовского лица, оно победно торжествовало. Не торжествовало, скорбно-скорбно кручинилось лицо матери. Короток зимний день, короток он и тогда, когда начинает прибывать. Мать почему-то пугалась приближающейся сумеречи, она говорила отцу:

– Да мы что, ночевать здесь будем...

Отец молчал, но видно было, что он сердится потому, что моя родительница не могла без передышки тыкать пилу, не могла приноравливаться, а отцу хотелось, чтоб всякий рез был без зажима, без сучка, без задоринки.

– Арсенька! Иди сюды, – Арсенька бросал топор, подбегал к комлю ещё не поваленного дерева, выхватывал из рук матери ручку пилы. А мать начинала злиться.

– Что я, пилить не умею, – обиженно говорила она.

До темна, до сумеречи, шершаво шамкая, кромсала белые тела берёз остро наточенная и умело разведённая пила.

– Месяц взошёл, – не знаю кому, скорее всего, угрюмо притихшему лесу сказал я, глядя на небо, на его сумеречь.

– Гришенька, поедем домой. Завтра ведь праздник. Новый год.

Отец не внемлет ласково сказанным материнским словам, но он торопится, он хватает ровно распиленные плахи, складывает их меж двух заматерелых берёз.

– Ты всё ворон ловишь, – походя, не глядя на меня, говорит отец.

А я – я не ловлю ворон, я всё ещё смотрю на месяц, он – когда он народился? – на переставшем сыпать свои снежинки, чистом-чистом небе.

Неохотно выпускаю из широко открытых глаз светлое шильце месяца, хватаюсь за плаху, стараюсь приподнять, но не приподниму.

– Ты что делаешь? – набрасывается на меня не на шутку напуганная моим усердием мать. – Ты же надорвёшься!

Может, от материнской жалости, а может, от обиды я ощутил на щеке прикосновение, нет, не месяца – неожиданно набежавшей слезы.

Из лесу никто не уезжает с пустыми санями, четыре толстых-толстых комля отец без чьей-либо помощи уложил на вязки освобождённых от сена (сено дожёвывал Гнедок) розвальней. Поверх комлей была положена тонкая, с загибом на конце, плашка.

Брат Арсений ловко продел в кольцо дуги и подвязал повод, ловко подвязал поперечники, нижний и верхний, а отец взял в руки вожжи. Он предложил мне сесть на воз. Я не сел. Я, обогнав тронувшегося

Гнедка, побежал в гору на опушину околдованного ранним сном леса. Думается, я быстро достиг бы опушины, быстро взобрался в гору, но неподалёку в темени широко раскинувшейся, одиноко стоящей сосны раздался устрашающий хохот. И не хохот, какое-то хохочущее рыдание, хохочущий плач. Я опрометчиво бросился назад и чуть не попал под копыта Гнедка.

– Ты что ?! – всполошась, спросила мать.

– Совы напугался, – проговорил отец.

Слова отца меня немного успокоили, в какой-то мере уняли мой страх. И всё-таки я не думал, что сова может плакать таким ужасающим хохотом. Можно было предположить: хохотал леший.

Я довольно долго все сказки, все рассказы о домовых и леших воспринимал как неопровержимую правду.

Ждал: может, снова раздастся рыдающий хохот. Не раздался.

IX

– Полезай скорее на печь. Отогревайся, – пропела, всплеснув руками, Анисья Максимовна, моя бабушка, пропела так, что я послушался и залез на печь.

Морозно взвизгнула обитая – в ёлочку – выцветшими дощечками тяжёлая дверь. Вошла мать, она сразу стала поводить своими карими глазами, хотела углядеть меня, а я укрылся мочальной дерюжкой и – молчок.

– Он не приходил? – спросила не на шутку обеспокоенная мать у сидящей на донце гребня бабушки, а бабушка ничего не сказала, она продолжала одной рукой тянуть вздетую на гребень кудель, другой крутила весело поющее веретено.

Не утерпел, выглянул из-под дерюги. Мать увидела меня, обрадованно проговорила:

– А я думала, ты в лесу остался...

А я и впрямь всё ещё в лесу оставался, стоял посреди берёз, глядел на вечереющее небо, видел острое шильце месяца, слышал, как шумно шамкая, шушукала остро наточенная пила, слышал плашмя, со стоном падающую, безжалостно загубленную красоту берёз, незабвенных лебёдушек лесных полянок, лесных лядинок.

Хочется воздать хвалу нашей русской печи, хорошо зная, что в век автоматизации, в век интенсивного освоения космоса наша русская печь – как остов извлечённого из вечной мерзлоты мамонта. Но ещё живут люди, которые благодарно вспоминают некогда стоящую, нет, не посреди избы – чаще всего у продольной стены хранительницу всевозможных тайн многовекового русского быта. Летописцы этого быта, мастера словесного искусства запечатлели немало имён удивительных умельцев, искусников. Талантлив русский человек, он мог подковать блоху, мог сложить такую печь, которая не только грела тело, но и отогревала душу, исцеляла её от всякой лихомани. А какие хлебы, какие караваи выпекала под своим кирпичным небом на своём кирпичном поду!

Печь нам мать родная. Добрая речь, что в избе печь. Хлебом не корми, только с печи не гони. Лежи на печи да ешь калачи. На печи всегда красное лето. Полна печь перепечей, а посреди – каравай. Можно без конца приводить пословицы и поговорки, в них-то и отразилось уважительное отношение русского человека к белой лебёдушке.

Лежанка ждет кота, пузан-горшок хозяйку, –
Объявятся они, как в солнечную старь,
Мурлыке будет блин, а печку-многознайку
Насытят щаный пар и гречневая гарь.

Печка-многознайка – а и впрямь все бабьи помыслы, все бабьи печали ведомы русской печи. Ведомы ей и все сказки моего деда, моей бабушки.

У печи есть чело, есть плечи... Есть у печи душа, она отдышала, отогрела мои косточки...

Острое шильце месяца больно укололо моё сердчишко, а поваленные берёзы мстили за жестоко загубленную жизнь. Прежде чем сгореть, превратиться в пепел в затопленном матерью подтопке, они стали застилать мои глаза поднимающимся к самому потолку едким дымом.

Услышал, как за дверью, на мосту заскользили чьи-то ноги, а протянутые к железной скобе руки прилагали немалое усилие, чтобы открыть дверь. А когда дверь открылась, я увидел своих сверстников, своих ровесников.

– Колядки петь пойдёшь? – спросили меня мои товарищи, мои закадычные дружки-приятели.

Неужто не пойду! Пойду непременно.

– Мы будем ждать тебя у Сабурина двора.

Считаю нужным сообщить имена и фамилии моих дружков-приятелей: Евгений Филинов, Александр Туманин, Владимир Сабурин, Александр Сабурин.

Все они жили неподалёку от нашего полудомка, все они были мирские (никониане), а я кулугур, приверженец старой веры. Так дразнили меня мои дружки-приятели, когда я расходился с ними, враждовал.

Не умолчу, скажу, какая нестерпимая обида овладевала мной, когда я слышал хором пропетые, зарифмованные слова. Я кидался – один! – на целую гурьбу повздоривших со мной, милых моих дружков-приятелей. Меня боялись, боялись потому, что я обладал немалой для своих лет силой, был ловок. А ещё у меня был старший брат, он всегда мог встать за меня.

– Ты куды? – услышал я, приподнявшийся на ступеньки крыльца, громко прозвучавший голос.

– Петь колядки.

– Обожди.

Я остановился, ожидая, что ещё скажет охомутавший себя вожжами да поперечниками брат Арсений, но он ничего не сказал. Только после, когда освободился от вожжей и поперечников, дружелюбно проговорил:

– Пойдём вместе.

Я забыл о своих дружках-приятелях, радостно предпочёл им брата, братку.

– Б'атка!

– Б'атка!

– Б'атка!

Это мои дружки-приятели, это они кричат, нарочно картавя, дразня меня тяжело переживаемой мной, прилипшей к моему языку картавостью.

Я готов был рвануться к своим обидчикам, исколотить их, но не рванулся, придержал братка, сказав:

– Опосля.
– Когда опосля?
– Когда отколядуем.

А под светло горящими окнами заваленных сугробом изб уже раздавались те колядки, которые знал всякий сельский житель.

Пришла коляда
Накануне Рождества,
Дайте коровку,
Масляну головку!
А дай Бог тому,
Кто в этом дому!
Ему рожь густа,
Ужиниста!
Ему с колосу осьмина,
Из зерна ему коврига,
Из полузерна – пирог!
Наделил бы вас Господь
И житьём, и бытьём,
И богатством.
И создай вам, Господи,
Ещё лучше того!

Братка приостановился. Я тоже приостановился, я тоже перестал шмыгать своими подшитыми валенками. В взбодрённом невеликим морозцем, разреженном воздухе отчётливо слышалось каждое поначалу скороговоркой, без задора, бесстрастно, на свой лад пропетое слово, а потом, одушевляясь, возвращаясь, слова эти обретали магию заклинания. Под конец они переходили в выкрик, отдавались где-то на задворках, кем-то подхватывались.

Восхитительно, непостижимо, дивно волховало – да! да! – волховало не омрачённое ни единым облачком, усыпанное алмазно светящимися звёздами, зеркально чистое небо. Современная астрономия гордится своими познаниями, выдающимися открытиями в небесной сфере, но задолго до изобретения телескопа человек, пусть неосознанно, пусть стихийно чувствовал тайну мироздания. Возможно, небо поставило человека на круги своя, дабы зрил он дивное творение Бога Саваофа, Вседержителя мира сего, его создателя. Боюсь, нет, не упрёка в непонимании материалистического учения, боюсь оматериализоваться, безвозвратно удалиться от самого себя. Кто знает, кто скажет, в чём истина, в чём мудрость жизни? Зрение ребёнка острей, живее зрения уходящего на покой старца, восходящее солнце несравненно животворней заходящего. И совсем не случайно при помощи магии слова я приближаю закатную зарю к рассветной, тороплю старый год к новому году.

Сею, вею, поспеваю,
С Новым годом поздравляю!
Уродися жито, пшеница
И всякая чечевица,
Лён-долгунец,
Лён-молодец
С чёсаной головушкой,
С длинной бородушкой...

Не скажу точно когда, накануне какого Нового года, запали в мою голову крикливо пропетые, выплеснутые в холоде звёздного вечера складно подобранные слова. Порой мне кажется, что многие сказки, песни родились вместе со мной. По крайней мере, они сами, без какого-либо усилия с моей стороны вошли в меня, вошли так, как входит свет в избу. Тут нет ничего такого, что могло бы обогатить меня, все мы без какого-либо усилия, в самую раннюю пору запоминаем слова родного языка. И вряд ли кто может сказать, когда запало в память то или иное слово.

Кто не подаст ватрушки –
Разобьём в бане кадушки,
Кто не подаст пирога –
Увёдём корову за рога,
Кто не подаст колобашки –
Оставим без рубашки!

– Какие вы бойкие! – сказал, выходя из сеней, тот самый Иван Васильевич, которого звали стражником, он одарил: меня – пятаком, Арсения – гривенником.

Ещё светлей рассиялись крупные-крупные звёзды, они радостно рукоплескали. Запрокинув голову, я озирал обрадованные приближающимся новым годом небесные светила. Озирая, думал, нет, не о тайне мироздания, – о бережно опущенном в карман ветхого пиджачишка увесистом пятаке. И – как небо, как звёзды радостно ликовали.

– Бежим в слободу ! – предложил крутнувшийся на одной ноге брат Арсений.

Укатанная санями, проложенная посреди длинно протянувшейся улицы дорога подхватила нас и понесла на своём горбу, к светящемуся двумя крайними окнами училищу.

– Гляди, какая-то лампа-то...

– На цепях.

– А стекло-то какое...

– Как бычий пузырь.

– А горелка-то?

– Как кубышка.

Брат приостановился, он ещё что-то хотел показать мне в светящемся окне.

– Владимир Георгич сидит.

Владимир Георгич Радугин, первый по времени учитель в Красном Осёлке, глубоко уважаемый всеми сельчанами человек, он сидел за столом, склонясь над раскрытой книгой.

Не могу сказать, видел ли я раньше Владимира Георгича, возможно, видел, но – так уж случилось – облик старого учителя запечатлелся в моей памяти на исходе старого (по старому календарю) года. Седые, поредевшие (как у моего батеньки) волосы. Они гладко причёсаны. Недлинная – лопаткой – борода. И поясок. Поясок такой же, какой носят многие старики, когда они, стуча подожками, идут в церковь.

Ах, как мне хотелось вобрать в свои глаза всё, что окружало сидящего за открытой книгой недоступного для моего мальчишечьего созерцания человека! Но – даже тогда, даже в самые ранние годы открытия мира – я знал, что заглядывать, пялить глаза (как говорила моя мать) в чужие окна неприлично, грех.

В слободе, на Крутуше, в справном, под железной крышей дому жил Фёдор Петрович, старший сын Петра Матвеича, моего деда.

Я уже обмолвился, сказал, что Фёдор Петрович был умственным человеком, грамотеем, сумел, как говорят, выйти в люди, был в своё время в поле зрения крупных лесопромышленников Нижнего Новгорода. Лесопромышленники присматривались к башковитым выходцам из среды малоземельного приволжского крестьянства. А ежели эти выходцы ещё придерживались старой веры, тут тебе все карты в руки.

Быстро, одним мигом мы очутились под высокими, украшенными резными наличниками окнами а и впрямь справного дома. Кирпичная – с железной дверью – кладовая. На кладовой срубленная из ровных еловых брёвен стопа. Теремок на крыше. И крыльцо высокое, резное.

Уж и ходим мы,
Уж и бродим мы
По проулочкам,
По заулочкам.
Уж и ждём мы,
Уж и ищем мы
Иванов двор.
У Ивана на дворе
Разливалось море,
Море синее,
Полусинее.
Как по этому по морю
Вырастала трава,
Вырастала трава,
Трава шёлковая...

– Заходите в избу! – послышался хорошо знакомый, приветливый голос, голос сестрицы Аннушки, той самой Аннушки, что так лихо пела в нашей избе, в нашем полудомке.

Брат ринулся к крылечной створчатой двери, ухватил за бронзовую – с завитушками – скобу. Дверь не открывалась. По ступенькам крыльца торопко заколотились валенки. Остановясь у двери, они скрипнули половицей. Скрип приглушил не прихваченный морозом, приветливый возглас:

– Милости просим!

Милая, не по летам рослая Аннушка, она открыла дверь, впустила нас в сени, провела в избу. Но ни брат, ни я дальше порога не могли ступить, смирно стояли со снятыми с головы, зажатыми в руках шапками. И, размашисто крестясь, низко кланялись озарённым весело горящей лампадой иконам.

Рождённый в доме, в котором, кроме печи, полатей да ещё самодельного комода, ничего не было, я сразу же удивился обилию всевозможной утвари: табуретки, стулья, посуда в застеклённом шкафу, иконы в застеклённой божнице, всё это не могло не удивить. А ежели сравнить ну хотя бы наши чайные чашки, наши чайные блюдца с чайными чашками, с чайными блюдцами, что красовались за стеклом покрытого блестящим лаком вместительного шкафа, тут такая разница, что и вообразить немыслимо. Небо и земля.

– Да вы что стоите? Проходите, – встав из-за стола, ласково пропела дородная, не утратившая былой привлекательности Матрёна Степановна, что так умело правила вечерни, заутрени в укрывшейся на задворках моленной.

Я глянул на свои истоптанные – готовые расползтись – валенки. Снег на них уже успел растаять, но они не могли сойти с порога, лоснящийся ослепительным блеском пол пугал.

– Мы колядуем, – поспешил сообщить причину нашего появления в освещенном десятилинейной лампой, поставленном на кирпичную кладовую доме.

– А я сейчас гадать пойду, – рдея румянцем матово-белых, со смеющимися ямочками щёк, проговорила вставшая возле печного приступка Аннушка.

– Бесов пойдёшь радовать, – не замедлила отозваться Матрёна Степановна, она выносила из чулана колесо румяно запёкшейся ватрушки. Ватрушка предназначалась для моего прилипшего к спине брюха. Что касается брата, он тоже не был обделён, получил из рук Матрёны Степановны другую ватрушку, правда, не такую румяную, но всё равно испечённую на одной сковороде.

– Бог спасёт, – кажется, я первый произнёс эти слова, которые не могли не умилить глубоко верующую хозяйку гостеприимного дома.

– Ах, какой умница! Какой молодец! – всплеснувши пухлыми, как нитками перетянутыми в заплетьях руками, сразу оживилась умилённая Матрёна Степановна, она на какое-то время умолкла, и только глаза, большие, как у Богоматери, любовно ласкали мою душу.

– Раздевайтесь. И – за стол, – мне показалось, что я ослышался, но брат мой, не мешкая, сбросил с себя сшитый из домотканого сукна пиджачишко, первым приблизился к столу и, перекрестясь, сел на стул с красиво выгнутой спинкой.

Я замешкался, довольно долго не мог стащить со своих плеч тоже из домотканого сукна на вырост сшитый пиджачок, а когда стянул, пальцы мои потянулись к незастёгнутой пуговице на вороте заношенной ситцевой рубахи. Пуговицу не застегнул, пальцы ещё не отошли от холода, деревянно коченели. Увидел рукомойник, потянулся к рукомойнику, совершил омовение рук, вода в рукомойнике была тёплой, пальцы мои ожили, отошли, на правой руке они сложились в двуперстие, дабы осенить останные часы уходящего года крестным знамением.

Я не поднимал глаз, не смотрел на скорбные лики великомучеников, освещенные неугасимой лампадой, я клал земные поклоны, клал, отрешась от самого себя. Мне казалось, что я попал если не в рай, так в преддверие рая, вознесся на небо, а на небе нет ни скорби, ни печали...

Матрёна Степановна усладила останные часы уходящего года двумя блюдцами крупитчато-загустевшего мёда. Его цветущую липу я до сих пор ощущаю на своих губах.

– Пойдём на улицу! – позвала, нет, не меня – моего брата Арсения, уже выбежавшая на улицу, неугомонная Аннушка.

– Никто с тобой не пойдёт.

– Все пойдут.

– Заневестилась девка, о женихе бредит, – без укора, как бы сама с собой, проговорила сердобольная, достойно несущая свой крест женщина.

Ещё девицы гадали,
Ещё красные гадали,
Да не отгадали.
Пал, пал перстень
В калину-малину,
В чёрную смородину.

Очутился перстень
Да у боярина,
Да у молодого,
Да на правой ручке
На малом мизинце –
Позаиндевело, позаплесневело,

– задорно, с притопыванием пропела, а и впрямь загадавшая о женихе, своевольная девка. Она взяла со стола две ложки, сунула их в карман своей шубейки и – на улицу.

Стучат почти у каждой избы, у каждого двора деревянные, хохломской работы, хохломской росписи ложки. В морозном воздухе, в накрытой чёрным, крупно раззвездившимся небом морозной тишине отчётлив стук, издалека слышен он, но так же отчётливо, так же издалека слышно эхо, оно откликается со всех четырёх сторон, со стороны Просека, Красного Яра, Кремёнок, Осташихи*. Откликается чья-то судьба, откликнулась она и на стук Аннушкиных ложек.

Кукарекнул петух, оповестил о приходе Нового года, а может, Новый год проголосил на весь мир. Слышно. Слышно.

X

Домой возвращался один, брат Арсений остался под железной крышей красиво поставленного на кирпичную кладовую, приглядного дома, так захотела Аннушка, так захотел Михаил, младший сын Фёдора Петровича и Матрёны Степановны, он был ровесником, годком Арсения, за одной партой сидели в училище.

Трудно сказать, что я думал, когда торопко трусил по проложенной посреди улицы, гладко укатанной санными полозьями дороге, возможно, о засунутой за пазуху ватрушке, а может, о пятаке, что отяжелил своей красной медью карман моего пиджачишка...

Неожиданно гулко ударил пожарный колокол, ударил – и утих. Я знал, что пожарный колокол отбивает время, знал, кто отбивает, дёргает длинную (длинней любых вожжей) льняную веревку – древний-древний старик по прозвищу Горюня.

Долго-долго держался в морозном, разреженном воздухе колокольный гул. Все знали, не могли не знать, что по старому календарю наступил новый 1929 год, но не все знали, что сулил этот год, названный годом Великого перелома.

Глянул на небо, небо холодно и отчуждённо омутилось. Оно походило на большую полынью, и звёзды колко, как ерши, барахтались в полынье. Я ведал, знал, что у каждого человека есть своя звезда, своя планида. Хотелось узнать свою звезду, я узнал: моя звезда отделилась от других звёзд, она была яркой-яркой, она учащённо дышала.

Похрустывал под истоптанными валенками укатанный снег, похрустывал так, что я часто оглядывался. Мне казалось, что кто-то догоняет меня. Больше всего я боялся покойников, поэтому, когда проходил неподалёку от кладбища**, мимо могил, всё во мне замирало, уходило в пятки и – какая радость! – вдруг увидел огонёк в запелешенном окне

---

* Близкие к Красному Осёлку сёла.

** Кладбище в Красном Осёлке возле церкви, неподалёку от здания бывшего училища, бывшей школы.

нашего полудомка, огонёк тускло желтел, как непожухлый лист в чёрной полынье новогодней ночи.

– Ты где был? – накинулась на меня обеспокоенная моим долгим отсутствием мать, накинулась без крика, без раздражения, потому-то я сразу признался, где был, а извлечённый из кармана пятак умилостивил мою родительницу, её руки помогли развязать под моим подбородком лямки нахлобученного малахая.

Приподнял свою вифлеемскую звезду прикорнувший возле печного приступка бычок. Он гладко лоснился, три раза в день упивался молоком смирно стоящей под половицами моста заиндевевшей Жданки.

Не мог удержать себя, приласкал ещё не отошедшими от холода руками тихонько мыкнувшего телка, погладил по лоснящейся шерсти. Сладко зажмурился телок, хотел, чтоб мои руки как можно дольше прикасались к его светло круглившимся бокам.

Из кути, из-под накрытой лоскутным одеялом кровати, дробно стуча ореховыми скорлупками раздвоенных копытц, вприскок кинулся к моим валенкам чёрный – как крыло ворона – ягнёнок. Он мелко каракулился курчавой шёрсткой. Я приподнял голову, обрадованно посмотрел на мать. Мать не преминула оповестить о только что объягнившейся белой овце.

– Одного принесла?

– Одного.

– Барана?

– Барана.

В детстве у меня почти не было игрушек (об этом я уже вроде бы говорил), но никого, ни благосклонного к моему пребыванию на земле деда, ни скупого на слова отца, я не просил купить даже пугача. Я сам мастерил самострелы, гнул луки, острым, сделанным отцовскими руками складником вырезал из коры осокоря пароходы. Ну а старые, истоптанные лапти утешали мои давние-давние дни, мои давние-давние слёзы...

Отсутствие игрушек заменялось присутствием того же ягнёнка.

Милый мой, незабвенный мой агнец, как я рад дробному стуку твоих копытц. А твой чёрный каракуль, ах как он умилял меня, когда укладывался вместе со мной на разостланном возле жарко натопленного подтопка старом чапане, и ничего, ежели подол моей ситцевой рубахи солонел от каракулевой мочи. Зато какое блаженство – спать бок о бок с самым безобидным на всём белом свете четвероногим существом!

– Ты что, всю ночь будешь сидеть? – укоризненно проговорила мать, глядя на сидящего на табурете отца.

Отец отмолчался. Он подковыривал кочедыком новые лапти, сплетённые проживающим в доме Петра Степановича Филинова мордвином Гаврилой.

Гаврила тем и жил, что плёл лапти, плёл по-мордовски, наперекосяк, как говорила моя родительница.

– А где тётка Марья? – спросил я у отца, спросил с явной тревогой. Я боялся, что Марья Петровна могла уйти в своё Великовское, а мне хотелось дослушать недосказанную сказку.

Тревога моя не была напрасной, единственная дочь моего деда по павечери утопала домой, на другой берег стеклянно взбугрившейся ломаными льдинами Волги. Так ответил отец, ответил нехотя. Не любил отвлекаться от дела, от кочедыка, что был схож с молодым месяцем.

Я и вправду улёгся у подтопка, но не на чапане, улёгся на материнской шубейке вместе с свернувшимся в калачик ягнёнком, быстро забылся, заснул. Проснулся от синё нависшего дыма. Дым лез в глаза,

ел их. Я с головой укрылся своим пиджаком, но упастись не мог, дым душил меня, даже ягнёнок и тот стал мотать головой, беспрестанно чихать.

– Пойдём корову окуривать, – пробаяла выплывшая из чулана бабушка. Она увидела, что я не сплю, гляжу на висящий коромыслом дым.

Окуривать корову... Пожалуй, только старые-старые люди, те люди, что выросли в крестьянской избе, ведают, что такое окуривать корову. Действо, по всей вероятности, пришло из языческих времён, оно сродни всевозможным заклинаниям, заговорам. Телится корова, всё молоко её на протяжении шести-семи дней отдают телёнку, никто из людей не может выпить ни одной капли. После окуривания – пей, упивайся, разумеется, в скоромные дни.

Я ухватился за прислоненные к подтопку валенки, сунул в них нахолодавшие ноги, потом сунул руки в свой заношенный лапсердак и – за дверь. Бабушка вынесла из кладовки (чулана) глиняный горшок.

– На, держи...

Я зажал в оголённых ладонях осторожно поданный, обожжённый до глазури, небольшой горшочек. Вскоре он был набит усохшей травой, той травой, что зовут богородской, что так слышно благовонит.

Когда я вместе с бабушкой сошёл с моста и очутился возле смирно стоящей Жданки, богородская трава духовито задымилась от шумно вспыхнувшей спички.

Не скажу точно, первый ли раз я принимал участие в священнодействии окуривания коровы, возможно, первый раз, не с того ли так старательно исполнял всё, что говорила бабушка.

Курись, трава,
Дымись, мурава,
Духовитая,
Громом-молоньёй
Не убитая.
Оборони от хвори-хворушки
Вымечко моей коровушки,
Молоко услади,
Домового уследи...

Трава в горшке сгорела, осталась только горстка пепла. Горстка была рассеяна по двору, домовому под хвост, как сказала сразу подобревшая бабушка. Она подсела к белому вымени, и в её руках звонко запело окуренное молоко.

XI

Белизна парного, только что надоенного молока до удивления схожа с белизной зимнего, заметно удлинившегося дня, так и кажется, не сугробы снега – молочные реки разлились по всей земле, по всей округе. Русский человек с незапамятных времён смотрел на гуляющие по небу тучи, как на стада коров, поэтому падающий снег мог восприниматься как молочные струи.

– На, разговляйся, – ах какая она добрая, какая милая, моя бабушка Анисья Максимовна, она первому мне подала полную кружку тщательно процеженного парного молока.

Глянул на деда, без его согласия я не мог прикоснуться к поданной кружке. А сидящий за толстой, закапанной воском книгой дед вроде бы не заметил моего взгляда. Был понедельник, такой день, когда дед постился, по своей особой набожности. Понедельник не был постным днём для тех, кто не утруждал себя строгим постом, строгой молитвой. И всё-таки я решил польстить деду, преподнёс полно налитую кружку облизнувшемуся бычку. Не побрезговал. Выпил.

– Ты что делаешь?! – вскочив с кровати, накинулась на меня моя мать.

Что я делаю? Вроде ничего плохого не делаю. Так мне казалось, так мне представлялось.

– Ты же кружку-то опоганил!

Я опасливо посмотрел на деда. Дед учуял мой взгляд, проговорил:

– Скотина чище человека. Она безгрешна.

Мать надолго умолкла, а я приблизил себя к столу, к раскрытой, недоступной для моего понимания, толстой-толстой книге.

«Вначале сотвори Бог небо и землю. Земля же бе невидима и неустроена, и тма верху бездны, и дух Божий ношашеся верху воды. И рече Бог: да будет свет! И бысть свет. И виде Бог свет, яко добро, и разлучи Бог между светом и между тмою. И нарече Бог свет день, а тму нарече нощ, и бысть вечер, и бысть утро, день един», – по складам, часто запинаясь, читал мой батенька, читал отрешённо, без тени какого-либо сомнения в правдивости непонятно звучавших слов.

Впоследствии, через много-много лет, когда та же самая книга очутилась в моём одиноком затворничестве, в той самой хижине, в которой я попытался воссоздать облик своего единоверца – незабвенного протопопа Аввакума Петрова. Могу достоверно засвидетельствовать: без этой книги я не смог бы что-то воссоздать, что-то создать. Непонятно звучащие слова зазвучали понятно...

Всему свой час, всему своё время.

Батенька не держал меня возле себя, но он радовался, светлел всем своим существом, всей собью, когда я, встав на скамью, клал поясные поклоны.

– Онисья, виждь...

– Вижу, вижу, – отзывалась из своего чулана Анисья Максимовна и умильно расплывалась в благостной, тихой-тихой улыбке.

– Осетрина-то уварилась?

– Уварилась.

– Ставь на стол.

На стол была подана глиняная плошка, она исходила густым, духовито-вкусным паром.

Не премину сказать, Анисья Максимовна умела готовить, даже трудно представить, где она, у кого могла перенять таинство кулинарного искусства.

– От покойной матушки, – незамедлительно следовал ответ, когда кто-то пытался узнать, как можно ту же осетрину так приготовить, что она сразу вызывала волчий аппетит.

Дед мой, мой батенька, не был чревоугодником, он строго соблюдал все посты, постился по средам, по пятницам и по понедельникам. Не помню, ел ли он мясо, скорее всего не ел. Проведя много-много лет на Волге, на Керженце, он доволил себя чаще всего рыбой. Летом свежими, прямо из воды окунишками, зимой – балыками осетрины, вывезенными снизу, из Астрахани.

– Наедайся на весь год, – говорил Пётр Матвеич, а я наелся, я заголил подол рубахи и показал туго набитое брюхо.

– Тогда иди гуляй.

Солнце на лето, зима – на мороз... А и впрямь, солнце поворотило на лето, оно не пряталось за огородами, за глубоко замятюженными яблонями, оно приподнялось, стало светлее ликом, не страшилось мороза, подбадривало сиротливо приютившихся на суку нашей подоконной березы нахохленных воробушек.

Какой раз – десятый, двадцатый? – я берусь за вязки салазок, вытаскиваю эти салазки на улицу, опуская на протоптанную к колодцу тропинку.

Какой раз … Первый раз взираю на половодье солнечного света, на его слепящую белизну.

Мороз и солнце...

Не ради украшения лишённого какого-либо вымысла, фактографического, летописно-правдивого повествования, ради обильно разлившегося солнечного половодья, его ослепительно-яркой белизны я попытаюсь воскресить пейзаж давнего-давнего, незабытого мною, зимнего дня.

Не одних воробушек увидел я на суку подоконной берёзы. Да и что воробушки, они вызывали только жалость. Но жалость тут же заглушал восторг великолепия. Великолепно убралась наша наклоненная к Сабурину двору берёза. Вся она в алмазах ослепительно блистающего инея, не берёза – боярыня Морозова, на неё воззрился мой сверстник Саня Туманин.

– Айда кататься! – кричу я своему сверстнику, своему близкому-близкому другу.

– У меня салазок нет.

– На мои сядешь.

– Не уместимся...

– Уместимся!

Уместились. Катимся с церковного взвоза, взвоз крут, до блеска высветлен санными полозьями – дух захватывает от неудержимо мчащихся салазок. Немного боязно: вдруг окажешься под копытами чьей-нибудь лошади...

Всё обошлось подобру-поздорову, выкатились на подгорицу.

А подгорица-то вся оледенела, катимся по льду к Волчьей урёме. Останавливаемся возле густо разросшего краснотала, что остекленел от кухты, что прослезился от круто завернувшего мороза. Нет, не от мороза – от приснившейся весны, от половодья света.

Тут ещё наваленное на сани-розвальни сено. Оно приближалось к взвозу, издалека дурманя мёдом явленного посреди зимы, плывущего по её сугробам лета.

В свои шесть-семь лет чаще всего по лошади я издали мог узнать, кто – летом на телеге, зимой на санях – везёт ну то же сено, узнал и на этот раз: приближался к церковному взвозу Фёдор Иванович Железнов. Его неказистая, кургузая кобылёнка упрямо тянула небольшой – пудов на пятнадцать – возок. Я часто видел Фёдора Ивановича возле нашего амбара, он приходил к моему отцу, иногда по делу, иногда просто так – покалякать. Он был немного шадлив, но едва приметные шадринки не портили красоты привлекательного, чисто русского лица.

– Катаетесь? – глухо спросил нас Фёдор Иванович, когда мы очутились вблизи его возка, подплывающего к крутой, сплошь засаженной яблонями, золотой, как говорили старые люди, горе.

– Катаемся, – не помню что, по всей вероятности, так я ответил, ответил неохотно, потому что кататься мне уже расхотелось. Всем существом я прилип к сену. Оно не могло не полонить меня мёдом своего лета, своей духмяной травы.

Мороз обычно убивает все запахи, даже усохшая, не заваленная снегом полынь не дурманит своей хмельной горечью. На что осиновая кора и та не горчит. Запахи – они как вода – леденеют на холоду. Но запах сена не подвластен никакому холоду, я дышал резедой, мятой, дикорастущим клевером, вязелью, всеми теми травами, что привольно сразу же после половодья зеленели по всей подгорице, по всей приволжской поёмине.

Не знаю, пахнет сено яблоками или не пахнет, но я ощутил и запах, медовый дух лежалых яблок... Вполне допускаю, что я обманулся, запах мне только мерещился. Сено поднималось на гору посреди яблонь, я даже знал какие яблони – анисовые, наливные, боровинские, каждая яблоня мне хорошо знакома.

Удивился силе кургузой кобылёнки. Она без передыха вытянула свой возок, Фёдор Иванович даже вожжой не пошевелил. Оставался один взгорок, и не такой крутой, как другие. На темени взгорка – белое диво церкви. Неподалёку – дом пономаря, дом умершего в годы революции попа Алексея. Дом справный, на кирпичном фундаменте, под железной крышей, очень походил на дома знатных господ, на те дома, которые я видел на старых картинках.

Дед мой всю жизнь хранил устои древлего благочестия, Боже упаси не соблюсти какого-либо предписания, канона. Старая вера – превыше всего на свете. Дивное великолепие мирской церкви не трогало моего деда. Великий грех – поднять глаза ну хотя бы на высоко вознесённый крест плечистой, соразмерно сложенной колокольни. Не тот крест, нет тех восьми концов, которым заповедал поклоняться сам Вседержитель, сам Бог Саваоф.

Я шёл по стопам деда, потому-то так незабвенно, так трепетно любил меня не утративший своего древлего благочестия, набожный старик. Лет до десяти я твёрдо придерживался старой веры. Не пил воды из одной кружки не только со взрослыми мирскими людьми, но и с ихними детьми, с тем же Санькой Туманиным, пил из самоварной заглушки.

– Айда поглядим, – говорит мне мой соблазнитель, мой близкий-близкий друг.

Я мотаю головой, я не поддаюсь искушению, но гляжу на паперть, на окованные железом врата, что прикрывают нутро храма, гляжу и на Богоматерь, что парит над окованными вратами...

Пастухи пустыни, что мы знаем?

Что я мог знать в свои неполные семь лет? Знал сказки, колядки. И не знал, что земля круглая, что она крутится вокруг своей оси. Не знал я, что парящая над церковными вратами Богоматерь – удивительное создание кисти неведомого мне живописца. Одно я мог подметить, что лик мирской Богоматери разительно отличается от нашей староверской Божьей матери. Нет той неизбывной скорби, той щемящей печали, нет выкатившейся из глаз, огромной, как валун-камень, слезы.

Не соблазнил меня мой друг, мой сверстник, я возвратился к своей слезе, к своей печали.

XII

Крепчают морозы. В избе нашей, в нашем полудомке сделалось совсем темно. Не запележенные, не забитые досками, верхние прогалины окон – залубенели. Залубенев, стали мутнеть. Так бывает только в подвале – не проглянет ни солнце, ни месяц.

– Студь-то какая! – дуя на окоченевшие руки, говорит пришедшая с улицы мать.

Я сижу на печи, на печи тепло. Но кому охота сидеть на печи, хочется на улицу. Я прошу мать, чтоб она дала мне свои валенки, мои валенки расхудились так, что пальцы вылазят, пятки светятся.

– Да куды ты пойдёшь?

– В моленную.

Мать умолкает, она долго смотрит на деда. Дед вроде бы никуда не собирается, он оправлял лампаду, неугасимую, как её зовут, завтра великий праздник – Крещение.

Я знал, что в Крещение святят воду, но я не знал, как её святят. Спросил у бабушки, а бабушка сидела у печи, облокотясь на залавок.

– Есть река Иордань, в Иордани Христа крестили. С той поры по всей земле Иордань-река растеклась, в её воду люди погружают себя, пролубь рубят и – погружают. Может, с того и морозы начинают свирепеть, чтобы люди убоялись в воду-то лезть. Коли молодой была, сама испытала, какая боязнь находит, какой страх от такой холоди бывает, слова не скажешь, зуб на зуб не попадает, вся дрожмя дрожишь. Большую волю нады поиметь, чтоб в пролубь войти. Ну ежели довелось войти, холодь-то эта вроде и не слышится, утихает она. Благодать всевышняя находит. Господи, введи меня в Иордань свой, одари мя своей милостью! – Бабушка кладёт на себя крестное знаменье и – долго-долго молчит, потом обращается к деду, говорит ему:

– Ты бы святой водицы нацедил...

– Где?

– В моленной.

– Не нацежу.

– Почему?

– Потому!

Дед вбегает в чулан, тычет пальцем в ведро с только что принесённой водой.

– Вот она, святая вода!

Бабушка качает головой, невозмутимо спокойно произносит обидное для всякого человека слово:

– Рехнулся?

– Ты рехнулась. Вода-то отколи?

– Из колодца.

– Из нашего?

– Нашего.

– Так знай: колодец наш свят на веки веков.

– Кто его освятил?

– Твой сын Ёгорка.

Бабушка потянулась к концу повязанного шалашиком, застиранного платка и сникла: она вспомнила брошенные в колодец медные иконы, так, видимо, повелел Вседержитель, дабы утолить алчущие души и впрямь освященной водой.

А я никак не мог понять глаголы шумно вскипятившегося деда. Он предал анафеме своего непутёвого сына. И вдруг – освятил колодец.

Не согласуется одно с другим, не совмещается.

– Марья, ты валенки-то уступишь?

Я никогда не слыхал, чтоб дед с такой учтивостью обращался к моей матери. Может, потому-то и разведрились её ненастные, угрюмоватые глаза – глаза диковатой, загнанной лошади.

– Уступлю, – незамедлительно соглашается моя родительница, она оголяет свои точёные, ходкие ноги, подбрасывает на середину пола добротные, сбережённые с девических лет валенки и грустно-грустно говорит:

– Покойный кока* купил...

Сколько раз, чаще всего в одиночку, я выходил на улицу, если не ночью, так в павечерь, вроде всё знакомо, всё ощупано, если не руками, так глазами, но такой, знать, мир, он вечно нов, даже снег непостоянный, вдруг поднимется, взвихрит, а вдруг присмиреет, начнет лисить, поземить. Сечень – так именовала древняя Русь январь-месяц, на две половины рассёк он зиму, но есть и другое русское наименование январю-месяцу – просинец. Как бы ни свирепел мороз, как бы ни лисил, ни позёмил снег, зима переломилась, произошло великое таинство: она затяжелела, затяжелела так же, как Богоматерь, от Святого Духа. Придёт час, и она обрадует прикорнувшего под соломенной застрехой воробушка. Встрепенётся воробушек, раскроет глаза и узрит новоявленного младенца, ту девицу, что при Крещении получит имя Весна, Весна-красна. А пока свирепствует мороз, люто звереет на вечерней, охватившей полнеба заре, я иду – след в след – за шумно сморкающимся дедом, я слышу, как визжит стеклянно позванивающий снег под его суковатым подогом, дед лёгок на ногу, идёт прытко, мороз подгоняет, он и меня подгоняет, он и меня толкает в спину. Вприскок, стараясь не отстать от шумно взвизгивающего подога, устремляю себя по укатанной, круглящейся мёрзлыми лошадиными шевяками дороге. Неожиданно – как гром посреди зимы – ударил колокол. Долго-долго не утихал, держался в воздухе медно рассыпавшийся гул, потом ещё один удар, гул усилился, слился с гулом ещё не завечеревшей улицы. Я давно научился различать по звону все колокола царственно возвысившейся колокольни, легко узнавал тревожный (даже когда нет пожара), сполошно учащающийся, как бы в крик кричащий звон набатного (пожарного) колокола, празднично-торжественный, размеренный, басовитый, подолгу не утихающий гуд среднего колокола, и, конечно, легко узнать всё подавляющий рокот главного колокола. Звоны хвалятся по голосу, а люди по беседе, а и вправду, неожиданно ударивший колокол хвалился своим роскошным, долго не утихающим голосом.

– Колокольный звон не молитва, а крик не беседа, – проговорил повизгивающий своим подогом, дико ненавидящий всё мирское, всё никонианское, мой дед, мой батя, ярый приверженец двуперстного знаменья.

Я не отозвался на явно предубеждённое изречение, я был полонён неутихающим колокольным звоном. Бухал средний колокол, серебряно рассыпались мелкие, подвешенные рядом с пожарным колоколом звоны. Их-то не так легко различить по голосу, но тот, кто научился различать раскаты соловьиного пения, кто знает, что такое лешева дудка, может без особого труда постичь многоголосие мелких пташек.

Какое-то время я ничего не видел, ничего не слышал, только колокольный звон, только он один парил над кухтой и инеем великорусской зимы.

Стало казаться, что я не под куполом вечереющего неба, а под медью большого колокола, вижу не зарю, а красную медь колокольной губы.

– Большая вода будет, – приподняв голову, проглаголил обернувшийся ко мне, весь замучневший от инея, радетель, мой батя-батенька.

---

* Кока – крёстный. Мать имеет в виду убившегося в колодце старшего брата.

Я вылез из-под большого колокола и тоже приподнял голову, глянул на небо, увидел полный светлый-светлый месяц, но я не мог понять, при чём здесь большая вода*, понял только тогда, когда подошли к моленной, мне показалось, что стоящие поблизости яблони утопли в большой воде, сугробы глубокого снега походили на волны половодья...

Милое-милое, давнее-давнее моё мальчишество, как оно щедро на всякие сравнения, уподобления; пройдут годы, десятилетия, поредеют, поседеют мои волосы, но память всё чаще и чаще будет возвращать меня к молочной белизне обильно наваленного снега, к его беспредельно разлившемуся половодью. Да и свет вышедшего на самую середину неба полного месяца – как половодье.

– Отогревай парня-то, – подбежав к ещё не осенившему себя крестным знамением бате-батеньке, пропела дородная Матрёна Степановна.

– Господь всех нас отогреет...

– Где это, в аду или в раю?

– В аду, в геенне огненной.

Ах, как я боялся, боялся ада, его огненной геенны! Одно утешало: что ещё мал, неразумен, что Господь милостив, что он простит меня за все мои вольные и невольные прегрешения. Так говорила бабушка, Анисья Максимовна. Она не хотела, чтобы я морил себя постом в скоромные дни, но батя-батенька, я так его любил, что готов был воспринять самые тяжкие вериги во имя торжества попранной справедливости, как он сам глаголил.

– Руки-то, руки совсем закоченели, – глядя на мои руки, всё также сердобольно пела моя благодетельница, Матрёна Степановна, – Аннушка, сходи, снежку принеси, – попросила она стоявшую у наполненной колодезною водою вместительной железной купели свою дочку-доченьку, дщерь свою, как глаголят все ревнители древлего благочестия.

Аннушка набрала целые пригоршни рассыпчатого, ничем не запятнанного, чистого-пречистого снега и начала оттирать мои лапы. Оттирала до тех пор, пока они не отудобели, не отошли.

Я бы мог прослезиться, не прослезился, ибо знал: слёзы лить – Бога гневить, так говорил батя-батенька.

Думаю, я не нарушу истины, ежели скажу, что я редко обжигал свою детскую душу, даже тихими, никому не слышными слезами.

Не могу сказать, почему в закопченной, неприглядной на вид моленной я чувствовал себя лучше, чем где бы то ни было. По прошествии многих лет я все силюсь разобраться, какая сила давала мне силы выстаивать вечерни, заутрени, обедни да еще размашисто креститься, класть земные поклоны.

Уму непостижимо! Религиозный фанатизм? Возможно. А ежели возможно, уместен сам собой напрашивающийся вопрос: что же такое вообще религия?

Человек стал человеком тогда, когда ощутил, что он смертен. Ни одно живое существо не знает, что оно умрёт, знает только человек. Страх смерти породил религию, а религия породила упование на иную запредельную (загробную) жизнь. Блажен, кто верует…

Я веровал, я и ныне не отвергаю своей веры, я возродил её в пору духовного возрождения, но я не познал небо, а не познавший небо может легко пасть, так и не освободясь от земных пороков.

---

* Полный месяц на Крещенье – к большой воде, к большому половодью.

Возвращаю себя под закопченный потолок, к наполненной ледяной водой купели.

– Величаем тя, живодавче Христе, нас ради ныне плотию крестившагося от Иоанна в водах Иорданских, – протяжно, певуче выговаривает Матрёна Степановна непонятные для моего разумения слова. Слова эти молодо подхватывает Аннушка, она, чуть не плача, просит:

– Боже, ущедри ны и благослови ны, просвети лице Твое на ны и помилуй ны, приступите к нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Речная устремления веселят град Божий. Глас Господен на водах. Господь на водах многих. Взяша реки, Господи, взяша реки гласы своя, от гласов вод многих. Сего ради помянух Тя от земли Иордански и Ермониимски, яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет. Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять. Ты утвердил еси силою Твоею море. Ты стерл еси главы змиев в воде. Ты расторгл еси источники и потоки. Видеша Тя воды, Боже, видеша Тя воды да убояшася. В мори путие Твои, и стези Твоя в водах многих. Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, вся премудростию сотворил еси.

– Слава и ныне: аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! – эти слова пропеты были всеми молящимися, даже дед мой, мой батенька, склонив голову, проглаголил славу, «крестившемуся от Иоанна в водах Иорданских...»

Пожалуй, не будет лишним, ежели я поведаю, какое воздействие оказывало на моё детское восприятие ночное бдение, ночное молебствие. Оно окрыляло, уносило на берег неведомого, наполненного святой водой Иордана, я старался представить себе, каков он, этот Иордан, но представить не мог, не хватало воображения. Виделась почему-то прорубь, та, которую я зрил возле Великовского, зрил, как она дышала белым паром...

– И крестився, Иисус взыде абие от воды: и се отверзошася Ему небеса, и виде Дух Божия, сходяща, яко голубя, и грядуща на Него.

А и вправду почуялся Дух Божий, что сходил как голубь.

– И се, глас с небесе, глаголя: Се есть Сын Мой Возлюбленный, о Нем же благоволи.

Не понимая смысла пропетых Аннушкой слов, я всё же ощутил снизошедшее благоволение, да и все кладущие земные поклоны ощутили (не могли не ощутить) это благоволение.

На какое-то время воцарилась тишина, Аннушка подняла осенённые пушистыми ресницами глаза, нет, не глаза – очеса, две проруби, в них теплились слёзы благоговейного умиления.

Не могу сказать, что больше тревожило меня: глас с небесе или глаза моей двоюродной сестрицы, в их прорубях я видел свой Иордан.

XIII

После Крещенья в Татьянин день женихи начинают засылать свах к своим невестам, в этот же день неумолчно стрекочут сороки, обещают целый короб новостей, и новости приходят, неутихший мороз их не придержит, у обросшего ледяной бородой колодца бабы с коромыслами на плечах во всеуслышание оглашают, кто кого усватал.

Младший сын Петра Степановича Филинова, Пекарки, как его заглазно кликали, усватал Олёну Маланову.

– Значит, уломал?

– Уломал, Клавдеюшка, уломал.

– Коли свадьба-то?

– На той недели.

Клавдея Зыбина, наша ближайшая соседка, она часто ссорится (баталится) с моей матерью, чего-то делят, и – никак не поделят.

– Ты же по миру ходила, нищенкой была...

– А ты от законного мужа убегала.

Я не знал, что моя мать убегала от моего отца, но прозвище «беглянка» прилипло к ней на всю жизнь.

– На улице-то, на улице-то что делается! – нет, не в Татьянин день, в иной день, может, в день Афанасия Ломоносова удивлённо пропела вошедшая в нашу избу Анюша Туманина, тоже ближайшая соседка, только по левую руку, соседка слева, как говорят хлебнувшие всякого лиха фронтовики-окопники.

Анюша, Анюшенька, так все звали невеликого росточка миловидную, всегда с доброй улыбкой на припухших губах, ещё не опечаленную прожитыми годами, молодую женщину.

– Ты что какая пасмурная? – участливо спросила Анюша-Анюшенька грустящую на донце гребня мою бабушку, Анисью Максимовну.

– От мороза.

– От мороза-то вода в полынье теплеет, дым из трубы прямо в небо лезет.

А на улице мороз
Приморáживает,
Парень девицу всерьёз
Приворáживает,
Приворáживает
Да прихорашивает.
Ах ты парень-паренёк,
День-то больно синеок,
Больно ведреный,
Больно ветреный,

– притопывая разношенными валенками, бойко рассыпала Анюша-Анюшенька на пол сразу посветлевшей избы плясовую дробь песни-скороговорки.

Сходила с рыхлого, одутловатого лица Анисьи Максимовны накопленная долгими годами пасмурь, увлажнились глаза, они блеснули тихо набежавшей слезой, вспомнили свою молодость.

В какие веки – кто знает, кто скажет – встала на ноги, ступила на белый песочек лесного Заволжья, лесной красной рамени заря-заряница, пала на пожни да пажити, а когда солнце стало всходить, когда день наступил на хвост ночи, обернулась заря-заряница в красную девицу, когда босиком, когда в берестяных лапоточках стала ходить по грибы да по ягоды, сколько всякой ягоды по Заволжью, по его боровинам – видимо-невидимо, поначалу малина поспеет, сладкая-сладкая, такой малины по всему свету не найти, а вскорости черника прозреет, вся в инее, вся в морози, зиму посреди лета учуяла, коротко лето, коротки и девичьи утехи, девичьи радости.

– Присядь, Анюшенька, к столу присядь, – бабушка чуть не насильно усадила непоседливую бабёнку, – чай будем пить, – таинственно прошептала она и, взглянув на меня, погрозила пальцем, дескать, молчи, ничего не говори дедушке.

Я долго не мог понять, почему не говорить дедушке про чай, сам дедушка не пил чай, но он не запрещал пить его другим, понял тогда, когда на стол была поставлена старинная – тёмного стекла – бутыль. Вино. И не такое, какое в лавочке у Ильи Филинова берут, другое, с кистями рябины на потемневшей от времени бумажной наклейке.

Откуда-то возвратилась мать, сняв валенки, стала дуть на руки.

– Ну и холодина!

– Афанасий шутить не любит, – незамедлительно отозвалась подогретая крепким «чайком» Анюша-Ашюшенька.

– Присаживайся, Марья, – пододвинув к столу табуретку, благосклонно пробаила бабушка, пробаила и – умолкла.

Мать не сразу присела, можно предположить: она растерялась, не знала, как воспринять неожиданно милостивое приглашение, топталась возле своей кровати и почему-то жалостно-жалостно глядела на меня.

– Да ты что топчешься? – подала свой голос не привыкшая церемониться добродушная соседка.

– Зазябла я.

– Так садись к нам, грейся.

Не знаю, сколько времени длилось сдобренное горькой рябиной чаепитие, но причина сему – моё внезапное исчезновение. Никому не сказавшись, в старых дырявых валенках, я очутился на улице. И что удивительно, поначалу не учуял мороза, только солнце, солнце на снегу, на конских шевяках, много-много солнца. Глянул на небо – на небе ни облачка, оно стеклянно синеет, оно прозрачно – как стекло. Мои фенологические наблюдения могли бы продлиться, если б не свадебное шествие, оно приближалось к Полунину двору, к Полунину проулку, впереди об руку с Олёной Малановой шел Николай Филинов (жених с невестой). Значит, не зря бабы-то судачили, всё вышло так, как они говорили... Впрочем, нет, немного не так. Забыли бабы посудачить о Протасе, известном на много сёл и деревень колдуне, близком родственнике невесты. Постараюсь устранить образовавшийся пробел, даю достоверное описание всего того, что я увидел, что навсегда сохранил в своей памяти.

Колдун на свадьбе, что чёрт на Масленице, может такое коленце выкинуть, что небо покажется меньше овчинки. Оно и впрямь меньше овчинки, это остекленевшее небо, не видать его, на глаза, на их ресницы мороз налип...

А и в самом деле, нестерпимый мороз стоит, при таком морозе воробьи падают замертво. Но что я вижу? Вижу раздетого до нательной рубахи человека, его босые ноги шлёпают по мелко размолотому стеклу изъезженной дороги, по её в золу истёртому снегу, человек опирается, тяжело налегает на суковатую длинную палку, на посох, как бы сказал мой дед, человек иногда приостанавливается, поворачивается к тоже до нательной рубахи раздетому, босому спутнику, оборачивается, что-то говорит, тычет в мою сторону суковатым посохом. Я отступаю от дороги, стою в придорожном, морозно блистающем мятюге, слышу, как в дырявые валенки набирается снег, снег холодит мои ноги, но я креплюсь, таращу глаза на свадебное шествие и с великим изумлением взираю на двух босиком идущих людей. Я знал, что один из них Протас, тот самый Протас, который легко летом может посадить на какую-нибудь кочку посреди озера, зимой на крышу сарая или овина.

– Ужась-то какая! – удивляются взирающие на босые ноги праздно стоящие по мятюжинам бабы. Больше всех всплёскивала руками Грунюшка Гаранина, она жила в слободе, но напротив Туманина двора пустовала её изба, за коей надо было присматривать.

– Душу чёрту продал, – не унималась уже пожилая, овдовевшая в годы мировой войны, всё та же Грунюшка, она костит идущего рядом с колдуном исшадривленного, исклёванного оспой Степана Спиридонова. По её словам, Степан уже не может ступить на путь истинный, так и будет босиком по селу ходить...

Может, я и сам продал чёрту душу, хочу и не могу возвратиться на крыльцо своего кержацкого полудомка, прилип к исподлобья взирающему на белый (действительно белый) свет Протасу, примечаю всякую мелочь в его угрюмом облике. Поразили зелёные, прикрытые нависшими бровями глаза и борода, длинная, почти до пояса, угольно-чёрная, без единого седого волоса, она росла прямо от зелёных глаз, росла густо, без прогалин, из неё крючковато, как у ястреба, показывался нос, но и на носу росли волосы, росли они и в ноздрях, только большой, полуоткрытый рот молочно белел ровными, как фарфоровые чашечки, зубами. Не осталась без моего внимания и маркизетовая, перехваченная шёлковым поясом рубаха, она мешковато облегала плотно сбитое, с годами не усохшее тело, она не была заношенной, но и не была первой свежести, на её вороте не хватало пуговиц, только две пуговицы копейчато прятались под дремучей бородой.

Не чуя окоченевших ног, я приблизился к Филинову колодцу, к его оледенелому срубу.

– Жарко! – показывая молочно-белые зубы, прохрипел отпыхивающийся (как от жары) Протас.

И тогда-то я увидел, как выкаченная из колодца вода полно налитой бадьёй опрокинулась на оголённую спину сперва самого Протаса, потом на спину изъеденного оспой Степана Николаича.

Не помню кто, но кто-то пожалел мои закоченевшие ноги, ввёл меня в избу, сказал, чтоб я скорее лез на печь. На печи я долго отогревал и ноги и руки, а когда отогрел, уставился в красный угол, загляделся на жениха и невесту.

Невеста мне показалась такой красивой, что я невольно вспомнил сказки о царских и княжеских дочерях...

По прошествии какого-то времени жених и невеста куда-то удалились, вроде в чулан ушли.

– Бабы, вы сейчас все утопните! – угрожающе прорычал сидящий на передней скамье Протас.

– Где мы утопнем? – отозвалось несколько насмешливо бойких голосов.

– В окиян-море.

Я лежал на печи и – не дышал, я замер, замер потому, что своими – неужто обманувшимися? – глазами видел, как из щелей пола забила вода, быстро залила половицы, обернулась и впрямь в окиян-море...

– Караул! – ревели, заголяя свои подолы, не на шутку испуганные бабы.

– Протас, пощади!

– Не пощажу.

– Мужики!

Мужиков не было, они были в другой половине избы.

Не скажу, сколько времени, может, минут держалась вода, а бабы с заголённными подолами взбирались на стулья, табуретки, лезли на печь...

– Протрезвели? – угрюмо вопрошал невозмутимо спокойный иллюзионист еще не опомнившихся от увиденного наваждения, присмиревших кумушек.

Мне захотелось ещё раз взглянуть на длинно отпущенную, дегтярно пролитую на маркизетовую рубаху бороду. Взглянул и – опять замер. По бороде тихо-тихо скользили короткие, как обрубки, пальцы, а из-под пальцев сыпались огненные искры.

Началось битьё посуды, били горшки, глиняные плошки, пустые бутылки (под конец свадьбы всегда бьют посуду). И – опять диво: все черепки покидал себе в рот, нет, не иллюзионист – настоящий колдун. Напоследок он ухватил стакан и своими муравлиными зубами изгрыз, как яичную скорлупу.

Возвращаясь домой, я часто оглядывался, боялся, как бы короткие, как обрубки, пальцы не ухватили воротник моего пиджачишка, не уволокли меня к колодцу, к его ледяной воде.

XIV

Уехал – а когда уехал, я не знаю, – на свою Пенякшу отец, думалось: подошьёт валенки, не подшил, насучил только дратвы да вырезал из какого-то старого сапожишка одну стельку, зато вытесал из срубленной в Середнем враге берёзы долгожданные лыжи – да ещё какие лыжи! – таких лыж ни у кого нет. С желобками, с ременными путицами*, с круто загнутыми носами. С горы можно кататься и по мятюжинам ходить. А если бы подшить валенки! Ах, если бы подшить валенки! Но кто подошьёт? Дедушка? Нет, дедушка не подошьёт. Надо ждать отца. А когда приедет?

– Коли тятя-то приедет? – спрашиваю у матери, а мать не отвечает, а мать заливается неутешными слезами, клянёт тот день и час, когда она родила меня.

– Связал, по рукам и ногам связал, ежели бы тебя не было, я бы дня здесь не жила, знаешь ли ты, какую я муку терплю?

Я не знал, не ведал материнской муки, за что жестоко виню и не кого-нибудь – самого себя.

– Марья, не изводи себя, – неужто бабушка, неужто она сжалилась над моей матушкой, над её только что пролитой слезой?

Бабушка сжалилась, Аксинья Максимовна подала голосок, она всегда хотела, чтоб в нашей избе, в нашем полудомке был мир.

– Ты что, так и будешь на полатях лежать? – спокойно и вроде бы виновато пробаила подобревшая мать. – Слезай, обедать будем.

Я слез с полатей, тронул рыльце глиняного умывальника, воды в нём не было. Мать схватила белое цинковое ведро и – к колодцу.

Время завтрака, время обеда, время ужина во всякий – скоромный ли, постный ли – день строго соблюдалось, таков порядок, наособицу никто не ел.

Возвратилась мать с полным ведром колодезной тяжело приподнятой на чуланную лавку воды. Вслед за матерью вошла моя сестра (неродная) Нюра, вошла вместе со своей подругой Машей Салынкиной.

---

* Путица – петля, которая продевается в ушки лыж, при катании надевается на ногу.

Приспела пора сказать что-то о моей сестрице, на её долю выпало счастье нянчить своего братика, а братик – это я, по всем российским весям старшие сёстры нянчили младших братьев.

– Я-то жать уходила, а ты с Нюронькой оставался, я ведь исполу много жала, прирабатывала, отец-то голой меня взял, пожнешь с недельку, глядишь, платье али кофточку опосля-то купишь, одежонку справишь. Правда, сердце всегда не на месте было, о тебе беспокоилась, а ты ещё от груди не отвык, сколько тебе было, полгода не было, а нянюшке-то твоей шесть годов, как раз на жнитве-то сравнялось, тоже дитё. А с дитя-то чего спросишь? Тебя в корзину посадит, а сама в куколки почнёт играть, не то под гору купаться убежит. Как-то прихожу и никого не вижу, спросить бы, некого спросить-то – все в поле, кричу, никто не откликается, только поросёнок хрюкает, из хлева пятачок свой показывает, под мост сунулась, под мостом-то клушка на яйцах сидит, крылья топырит, в огород метнулась, в огороде-то нашла тебя, промеж гряд лежал, нутром к земле прилип. Хорошо, что не задохнулся, – так повествовала моя родительница, когда была в умиротворении, когда вспоминала первые годы своего жития на чужой стороне да в чужом дому.

– Часы-то у вас что не ходят? – воззрясь на щелястую стену, спросила Маша Салынкина, спросила не меня – мать мою спросила.

– А шут их знает, что они не ходят.

– Может, в них тараканы налезли?

– Может, налезли...

Почему-то я мало интересовался часами, правда, я не оставался равнодушным к их малиновому, чистому звону.

– Часы встали, – как некую новость сообщил я хлопочущей у печи, подающей на стол всякое жарево да парево бабушке.

– Устали они. Пущай отдохнут.

И впрямь, пускай отдохнут.

За столом я не увидел деда и брата Арсения.

– Хватился прошлогоднего снега, – ответила Анисья Максимовна, когда я спросил, куда делся дед и брат Арсений.

– Арсенька с отцом уехал, – не преминула удовлетворить моё любопытство моя матушка.

– А дед в Лыскове*, по базару гуляет, – подчёркнуто равнодушно, как бы походя, проговорила бабушка, – гостинцев тебе накупит, – добавила она, когда я вылез из-за стола, вылезая, вспомнил о вытесанных отцом лыжах.

И какое счастье – я вдеваю носки материнских валенок в ременные путицы, я, не чуя мороза (мороз сник), иду по огороду, иду на своих лыжах.

Сердце задыхается от радости!

Задыхается от радости и сердчишко перелетающего с яблони на яблоню, ожившего воробушка

А тут ещё синичка-сестричка рассыпала свой звон, как будто льдинка о льдинку стукается.

Возле амбара останавливаюсь, гляжу на мотки тонкой-тонкой проволоки, смекаю: проволока может пойти на петли, что наматывают на воткнутые в сугроб колышки возле молодых яблонек, таким образом можно обмануть рыскающего в поисках зеленинки косоглазого зайчишку.

---

* Лысково – до революции большое село, после революции районный центр.

Сойдя с лыж, я довольно быстро наделал проволочных петель, расставил их вместе с колышками на задах*.

Бывает так: стихают морозы, и сразу устанавливается на удивление мягкая, не по-зимнему добрая погода, в такую погоду оттаивают запахи, скорее всего, эти запахи и притягивают, зазывают глуповатых зайчишек к молодым яблонькам. Да и сами молодые яблоньки заманивают своей сладкой горечью, на что занесенная снегом солома, и та подаёт ржаной дух, дух подобру-поздорову убранному полю. Переваливаюсь через гумённые высокие-высокие, глубокие-глубокие сугробы, прохожу мимо овина. У овина возвышается молодая, с гладким-гладким стволом рябина, летом во время молотьбы я залазил на неё, видел с её вершины большую дорогу, а на большой дороге старые-старые берёзы, телеграфные столбы видел. Снегирь! Нет, не снегирь, кисточка не поклёванных воробьями ягод, и какая-то птичка, маленькая, меньше воробья. Должно быть, поползень, он присматривается к ягодам, но не клюёт их, вроде любуется ими. Во всякой горечи есть своя сладость, сладко овевало волнисто залегшие надули оттаявшей полынью, полынь чуялась в открытом всем ветрам поле, всё поле в крапинах заячьих следов,

Приближался февраль, в феврале не только волки, но и ближайшие их сородичи – собаки начинают гулять, справляют свои собачьи свадьбы. Да что собаки – коровы просятся на улицу, коровы начинают гулять.

Удаляясь от овина, хорошо памятной рябины, я хотел увидеть волчьи следы. Не увидел, хоть и приблизился к самому лесу. Лес являл картину не убитой морозами, оттаявшей жизни. На усохшей макушине старого-старого вяза дробно стучал дятел. Работящая птица, она сродни моему отцу, стучит всё время, готовит для той же синички-невелички жильё. А я и синичку-невеличку увидел: орешину облюбовала, на орешине сидела да на меня глядела, соображала, по какой, дескать, надобности пожаловал я на опушину Ближнего врага...

Не скажу точно, сколько времени я пробыл в гостях очнувшегося после спячки, в любое время года приветливого леса, должно быть, долго пробыл, потому что домой возвращался на закате солнца. Необычен закат, такой закат бывает только в оттепель. Тихий-тихий, без полымя обещающей дикую стужу, зловещей зари. Возвращался я по своему следу и, конечно, не забыл посмотреть на расставленные петли. Нет, я не думал, что увижу живого, старающегося всеми силами освободить себя от проволочной удавки зайца. Пришлось помочь. Вытащил воткнутый в сугроб колышек, взял незадачливого огородника на руки. Ах, как он вырывался, сучил, бился задними лапами, этот незадачливый огородник! Каркнула ворона, а зачем она каркнула, я так и не мог понять. Не каркай, старая карга, всё равно не поживишься заячьими потрохами...

– Ты где его взял? – удивленно спросила привставшая с кровати мать, когда она увидела в моих руках освобождённого от проволочной удавки зайца.

– На задах, – так я ответил матери, а она, покачав головой, сызнова спросила:

– В петлю попал?

Мне не хотелось говорить о расставленных мною петлях, поэтому я отмолчался.

---

* Зады – примыкающая к гумну, отдалённая часть огорода.

– В ящичек нады посадить, – посоветовала мать, умильно глядя на присмиревшего огородника, она сама вытащила из-под кровати прибережённый отцом ящик.

А огородник смахивал со своих глаз навернувшиеся слёзы, он не думал, что так неудачно завершится не такой уж опасный набег на молодые яблоньки.

XV

– Дедушка-то кобылу купил. С ума он спятил! – рано по паутри услышал я эти слова от бабушки, поначалу подумалось, что дедушка купил для меня картонную кобылу, кобылу-игрушку, но зачем говорить: спятил с ума! – Да, спятил, рехнулся на старости лет, – как бы желая рассеять моё недоумение, во всеуслышание утверждала бабушка, мама старая, как я её звал.

– Умру я скоро, – тихо, щемяще-грустно проговорил мой батя-батенька.

– Не мели...

– Не мелю. Не мельница.

– Скоко денег-то отвалил?

– За что?

– За кобылу.

– Много.

– А нищеброда-то к чему приволок?

– Буду милостыней питать себя.

И питал, питал с памятного мне дня – дня появления в нашем доме чудаковатого, с буйно вьющимися волосами человека, которого даже бабушка свет Анисья Максимовна звала ласково Яшенька.

По первости Яшенька не привлекал моего внимания – много я видел всяких нищих, говорили, даже бывшие генералы пошли побираться, по миру пошли.

Внимание моё привлекла купленная (за немалые деньги) вороная, в белых чулках поджарая кобылица.

– Полукровка, – сказал знающий толк в лошадях сосед наш Михаил Фёдорович Туманин.

Я не знал, что такое полукровка, но я не видел таких, во всём Красном Осёлке таких не было.

Даже мать моя и та была в восхищении.

– Как барыня, – сказала и потупилась. Наверно, вспомнила своего старшего брата...

Она стояла во дворе под сушилами, с которых свисало ещё осенью привезённое с Молодого Острова сено, вся она – пела, вся она как туго натянутая струна. Не утерпел, созвал всех своих дружков-товарищей. Пусть глядят, пусть удивляются.

– Рысачка?

– Конечно, рысачка.

– Отец купил?

– Дедушка.

– Где?

– В Лыскове.

– Она хлеб ест?

Я не знал, ест ли хлеб поджарая, перебирающая длинными точеными ногами, а и вправду барыня, возможно, ест, возможно, ест она и

сено. Товарищи мои побежали за хлебом, а я залез на сушилы, сбросил целое беремя сена. Не прикоснулась, не съела ни одной сенинки. Отказалась и от хлеба.

– Она тоскует, – заявил самый старший из нас – Саня Сабурин, сын Фёдора Ивановича Сабурина*, близкого друга моего отца.

Дружки-товарищи, сверстники-ровесники, годки, погодки, многих из них уже нет в живых – не возвратились с войны, другие – извелись от ран, от болезней, но те, что живы, и доныне помнят моего деда, Петра Матвеевича, помнят купленную им рысачку, что тосковала на нашем – не очень-то просторном – дворе.

– Ты помнишь, – говорит мне, нет, не Саня, говорит Александр Фёдорович, бывший председатель сельсовета, – ты помнишь, как твой батенька нас к дверному косяку ставил?

– Как не помнить!

– Санька, вставай!

Санька прислонялся стриженым затылком к косяку, на косяке появлялась зарубка, она отмечала Санькин рост.

– Володька!

Володька вставал к косяку. Появлялась Володькина зарубка.

– Делать-то тебе нечего, что ты неволишь ребятишек-то? – насыпалась на деда раздражённая то ли не удавшимся, плохо испечённым хлебом, то ли иной морокой бабушка моя, моя благодетельница.

– Идите гулять, – повелевала она моим сверстникам-ровесникам.

И сверстники-ровесники шли гулять. А я оставался дома, у меня худые валенки.

– Фёдора пойду навещу, – надевая свой овчинный охабень, проговорил умиротворённый приведённой на двор справной кобылицей мой батя-батенька.

– Иди навести, – безучастно отозвалась взирающая на поставленный самовар Анисья Максимовна.

Батя-батенька ушел, ушёл к своему старшему сыну Фёдору Петровичу, а по какой надобности – никто не знал.

– Я ведь нынче именинница, – не преминула сообщить, по-старушечьи молодо улыбаясь, всё та же Анисья Максимовна, она достала из своего сундука кашемировый, всеми цветами радуги переливающийся платок. И ещё кое-что достала...

Никто не мог знать, Анисья ли Максимовна оповестила о своих именинах али сами барыни-сударыни проведали, но так уж случилось – табуретки вокруг стола не пустовали, рюмочки-сосулечки из деревянного комода на бранную столешницу перебрались, они уже два раза приподнимались, отражаясь на медалях крушиной начищенного самовара, приподнимались они во здравье Онисьи-полузимницы, той Онисьи, что усмирила своими синими-синими глазами дико лютовавшие морозы.

Есть в человеческой судьбе два таинства, таинство рождения и таинство смерти, никто из живущих людей не может поведать, как он появился на свет, никто не может рассказать, как он уходил, отходил, навсегда покидал этот свет.

Могут быть только догадки, воображение, но даже апостолы, пространно повествуя о смерти и воскресении Иисуса Христа, не решаются дать свидетельства самого Иисуса Христа, ежели бы таковые

---

* Александр Фёдорович Сабурин (Баруздин) много лет проработал председателем Краснооссёльского сельсовета.

свидетельства были, достоверность апостольских повествований намного увеличилась, по крайней мере, они приоткрыли бы дверь, которая так и осталась за семью печатями. Впрочем, любая тайна есть тот Китеж-град, который могут узреть только непорочные души. Уповай на будущее, заманчива не та дорога, что пройдена, зовёт и манит непройденная дорога, манит своей тайной, своей неизвестностью.

Знание расширяет кругозор, но расширившийся кругозор во сто крат увеличивает бремя непознанного, за горой возвышается иная гора.

– Максимовна, ты что это, с чего это на свой-то ясный день тень наводишь, – в один голос заговорили барыни-сударыни, когда они углядели на глазах Анисьи Максимовны сосульчато нависшую слезу.

– От умиления плачу. По паутри-то на улицу вышла, а на улице-то благодать-то какая! Холода-то и в помине нету, чуть-чуть мятюжины-то пристыли, ледком закружевели. Думаю, корову нады выпустить, пущай погуляет. Выпустила. Обрадовалась. Мычать зачала, подружек своих сзывать стала. И вроде бы захмелела, головой замотала, – именинница могла бы до вечера рассказывать про захмелевшую корову, но Анюта Туманина вылезла из-за стола, притопнула ногой и – голосисто запела:

Топну ногой
Да притопну другой,
Держись, каблук,
Не ходи на луг,
Ходи во поле
Возля тополя,
Возля милого ходи,
На его гармонь гляди,
На гармони бантики –
Розовые франтики...

– Милая моя, Анюшенька, как гоже, век бы слушала и не наслушалась, – обнимая резвую плясунью, проговорила так и не познавшая за всю свою жизнь какой-либо радости ревнивица древлего благочестия.

XVI

Дед возвратился не один, в избу он вошёл в сопровождении Фёдора Петровича. Мне представилась возможность вести длительное наблюдение за двумя совершенно разными, отличными друг от друга людьми. Дородный, в белых, должно быть, купленных, валенках Фёдор Петрович и сухонький, в стареньком охабне дед – и какое разительное несходство!

– Часы-то стоят? – взглянув на недвижимо замершие стрелки часов, спросил старший сын у своего родителя, а родитель не ответил, не тем занят был...

– Ты что такой взъерошенный? – осведомилась, оглядев своего благодетеля, вчерашняя именинница.

– Конец света надвигается!

Что за оказия! Вроде бы жизнь в свою колею вошла, война замирилась, пропавшие без вести и те возвратились, в шабрах живут: Михаил Туманин, Фёдор Сабурин, на Василия Коржиманова похоронная пришла, а он живой и невредимый домой притопал. А голод-то какой пережили! Смилостивился Господь, упас от лютой смертушки, кору

осиновую толкли, лебеду да крапиву горячей водой отваривали и – ели. Не брезговали. А сейчас-то что не жить, едим, пьём, слава богу, досыта.

– Значит, коммуна будет? – обеспокоенно вопросил невозмутимо спокойного Фёдора Петровича не на шутку встревоженный дед.

– Поначалу колхоз.

– А что опосля?

– Опосля коммуна.

Я, замирая, слушал, я понимал, что надвигается какая-то беда, может, и вправду конец света. Но ведь света-то с каждым днём всё больше и больше, даже в нашей избе, в нашем полудомке стало светлее.

– А как, по добровольности или по принуждению, будут входить в этот колхоз? – не унимался, спрашивал своего умственного сына батя-батенька.

– В газете пишут, по добровольности.

– Добровольно лезть в петлю...

– В какую петлю?

– Как в какую? В ту, о которой в газетине прописано.

Не знал батя-батенька, что его старший сын тайно клонился к колхозу. Фёдор Петрович никогда не был прилежен к своему хозяйству, к своей земле, думается, он ни разу не запряг лошадь, не взял в руки вожжи, всем заправляла Матрёна Степановна, она ладила соху, пахала, взяла на себя всю мужскую работу.

– На кобылицу-то хочешь взглянуть-то?

Фёдор Петрович отмолчался, он только посмотрел – и не без жалости – на соблазнившегося скаковой кобылицей старика.

Приблизилось такое время, когда сметливые люди не во двор, а со двора сгоняют последнюю коровёнку, в бедняки норовят попасть, а тут – скаковая кобылица!

Просчитался Пётр Матвеич, здорово просчитался...

– Пойду загляну к Егору, – вставая с венского (единственного в нашей избе) красиво выгнутого стула, проговорил дородный Фёдор Петрович.

– Чево ты у Егора-то не видел?

– Чай брат.

– Брат... Какой он брат? Христопродавец, сатана, дьявол, – дед не на шутку взъярился, плюнул на пол и толстой подошвой старого валенка растёр по полу свою слюну.

Уходя, Фёдор Петрович забыл варежки, и эти варежки стали причиной моего появления в избе Егора Петровича, появился я в бабушкиных ступнях, в одной рубашонке, с неприкрытой, осыпанной снежинками головой.

– Дядя Федя, ты варежки забыл, – сказав эти слова, я сразу обратил внимание на передний (красный) угол, надеясь увидеть если не иконы, так божницу. Божницы не было, весь угол заслонил собой огромный портрет Сталина, под портретом сидел сам Егор Петрович, с бритой, брюквенно белой головой, обратил я внимание и на стопку книг, на облепленные газетами стены.

– Учиться-то ходишь? – спросил меня как всегда игриво-жизнерадостный Егор Петрович.

– Да ты что, чай, ему ещё рано учиться-то, – ответила за меня жена Егора Петровича, тихая, всегда чем-то убитая Авдотья.

– Арсенька-то бросил ученье-то, – недовольно, осуждая перво-наперво религиозное мракобесие, проговорил воинствующий безбожник, ярый приверженец нового, научного мировоззрения, – и Нюрка бросила...

– Ученье – свет, – авторитетно подтвердил взявший из моих рук свои меховые варежки Фёдор Петрович.

– Свет... А сам во тьме пребываешь.

– Как это во тьме?

– В моленную ходишь?

– И ты ходил.

– Когда?

– Не так давно.

– Глуп был.

– А сейчас поумнел?

– Прозрел.

– Незаметно.

– Как это незаметно? – Егор Петрович схватил с подоконника отрёпанную книжицу и, сунув её в руки Фёдора Петровича, высокопарно изрёк:

– «Азбука коммунизма»*!

– Постиг?

– Постигаю.

Мне думалось, что Фёдор Петрович ради какого-то спора решил навестить своего младшего брата, очень тревожное стояло время. Лозунги, призывы уничтожить кулака как класс настораживали, они вносили в устоявшуюся после провозглашения новой экономической политики (нэпа), размеренную жизнь села тревогу, сумятицу. Кто знает, кулак ты или не кулак? Своим трудом ты достиг относительного благополучия или при помощи наёмной силы, был ты эксплуататором или не был? Советское законодательство не запрещало наёмного труда, а раз так, оно не должно применять какие-то репрессии к работодателю. С начала 30-х годов в стране существовали биржи труда, были безработные. Сам Фёдор Петрович никогда никого не эксплуатировал, много-много лет он батрачил на нижегородских лесопромышленников, правда, лесопромышленники доверяли ему на своё усмотрение набирать чаще всего из того же Красного Осёлка рабочую силу (рабсилу): лесорубов, сплавщиков и иных сезонных подёнщиков. Следует сразу же сказать: Фёдор Петрович честно исполнял свои обязанности: был хорошим подрядчиком, хозяева всегда оставались довольными, не было жалоб и от рабсилы.

– Так кто же я? Кулак или не кулак? – спросил бывший подрядчик своего просвещенного брата.

– Кулак!

– Почему кулак?

– Потому что ты всю жизнь эксплуатируешь Матрёну Степановну...

Рано, очень рано познал я все перепетии классовой борьбы. Возможно, я расхожусь с общепринятым взглядом на события, которые взбудоражили наше село, наложили неизгладимый отпечаток на облик всей страны, но даже в малом я не могу разойтись с правдой. Ради правды я лишаю себя какого-либо вымысла, зная, что без вымысла любое литературное сочинение утрачивает крылья, приземленность, обыденность – удел фактографии.

– Пойду, – степенно проговорил Фёдор Петрович, он пожалел, что заглянул к своему братцу, хотел что-то уяснить, не уяснил. Да и что

---

* «Азбука коммунизма» – брошюра Н.И. Бухарина, в своё время была весьма популярной в среде постигавших азы политграмоты городских и сельских активистов.

уяснять, когда власть на селе перешла в руки голодранцев, гольтепы, воинствующих безбожников.

Степенно принакрыл свои густые, с проседью, длинно отпущенные волосы боярской, отороченной лисьим мехом шапкой, запахнул крытую чёрным сукном, дорогую шубу, хотел было поклониться, но не поклонился, заслонивший красный угол портрет ещё не был обожествлён и не вызывал всеобщего поклонения.

Фёдор Петрович ушёл, ушёл не простившись, не сказав «до свидания», было видно, что он серьёзно озабочен своим социальным положением, конечно, он не замедлит войти в колхоз, ежели примут. А ведь могут и не принять, могут раскулачить...

– Ты буквы-то хоть знаешь? – обеспокоенный моим низким уровнем развития, спросил меня Егор Петрович.

– Божественные знаю.

– Божественные! А вот такие знаешь?

И перед моими глазами на картонном листе предстали иные буквы, иной алфавит.

– Учи.

И я выучил. И я благодарен Егору Петровичу за первые преподанные мне уроки.

XVII

Зима с летом встретилась, Сретенье приспело – почитаемый на всей Руси праздник и, надо полагать, языческого происхождения, на Сретенье телятся коровы, а те, что отелились раньше, радуют полными дойниками молока.

– Жданка-то наша как гоже доить-то зачала, на две кринки прибавила, – не преминула сообщить, и не кому-нибудь – самому деду, Петру Матвеичу, умиленная парным молоком бабушка, Анисья Максимовна.

– Яшеньке налей, – приказывает дед, зная, что прихваченный им на постоялом дворе, по всем признакам сбившийся с пути человек не пользуется особым уважением со стороны Анисьи Максимовны, не получает того довольствия, какое полагается справному, здоровому мужику.

– Не приказывай!

– Кормить нады человека-то!

– Я кормлю.

– Плохо кормишь.

В «мирскую», никогда не убираемую со стола, хлебальную чашку бабушка опрокинула кринку, нет, не парного, парного пожалела, опрокинула вчерашнего, уже успевшего застояться молока и, ничего не сказав, упряталась в чулан, к печи.

– Довольсь, Яков, – проговорил дед, проговорил дружелюбно, стараясь как-то сгладить взятый на свою душу грех пожадневшей старухи.

Кто он, что он, откуда он, этот обросший курчаво-золотыми волосами, отрёпанный человек, не знал сам дед, не было заведено, чтоб пытать человека, кто бы он ни был – накорми, напои, дай приют, дай угол.

А он, ухватив свой мешочек, неловко приблизился к краешку стола, неловко присел на скамью, присел не перекрестясь, не взглянув на божницу.

– Ложку подай! – опять приказывая, повышая голос проглаголил благодетель какого-то проходимца, может быть, хуже – тюремщика.

– Не надо мне, – простуженно прохрипел поднявший свой мешок, загадочный незнакомец.

– Как это не нады? Молоко-то горстями не хлебают.

– Мне бы стаканчик...

Дед не был дураком, он понял, для какой надобности потребовалась стеклянная посудина. Непричастный, за всю свою жизнь не прикоснувшийся к спиртному зелью, дед терпимо, а иногда – участливо воспринимал те или иные человеческие слабости, не терпел только кощунства над верой.

– Онисья! Стокан подай...

Анисья подала стакан, стакан наполнился шибающей в нос, вылитой из зеленоватой бутыли жидкостью, потом тот же стакан был торопливо опрокинут.

– А закусить-то не подала...

Закусить Анисья не подала, но Анисья соблазнилась уж больно чистой (как крещенская водица) жидкостью, пригубила преподнесённую загадочным незнакомцем сосулечку, что хрустально позванивала в запертом на замочек комоде.

– Нады за огурцами сходить, – утирая подолом краплённого мелкими цветочками, кубового платья свои губы, пробаила Анисья Максимовна.

– Давно бы надо сходить.

– Молчал бы.

– Почему я должен молчать?

– Потому что ты лишенец.

Я уже знал, что такое лишенец, но я не знал, что этот человек по решению местных властей вот уже несколько месяцев ходит в лишенцах, он лишён права голоса, права присутствия на той или иной сходке.

– Старая дура, кто меня лишил, голодранцы! Какое они основание имели? Я супротив власти не выступал.

А «старая дура», она уже успела поставить на стол берестяной бурачок принесенных из погреба огурчиков.

– На улице-то благодать-то какая! Солнышко на снег легло, зиме рог сшибло, – подсаживаясь к столу, пробаяла любительница крещенской водицы.

Солнышко на снег легло... Я видел из прогалины оттаявшего окна, как это солнышко лежало на подтаявших, закружевевших мятюжинах, видел, как оно восседало на заснеженных крышах, падало вниз головой – с сосулек.

Пожалуй, я никогда так не томился, не тосковал по улице, как в это Сретенье, ведь и мне хотелось встретиться с летом, с его теплом.

– Батя, дай мне свои валенки...

– Да ты в них утонешь, – урезонила меня моя бабушка, Анисья Максимовна, а батя-батенька – как он жалостив ко мне! – снял один валенок, потом другой и – сказал:

– Надевай.

Я стал надевать, надел, но не мог шагнуть ни одного шага – валенки великоваты, не по моим ногам.

Куда-то запропастилась мать, она всегда куда-то уходит, наверное, не хочет, чтобы я выклянчивал у нее её сапоги, её валенки.

Выручила бабушка, она предоставила мне свои – и не валенки – чёсанки с калошами.

– Только на лыжах не катайся.

– Ладно.

Сошёл с крыльца, заглянул в сколоченный дедом из берёзовых жёрдочек клеушок, в котором вот уже больше недели пребывал огненно-рыжий – со звёздочкой на лбу – бычок. Подрос. Посерьёзнел. Стоял степенно. Погладил по закурчавившейся шёрстке. Мыкнул бычок, должно быть, обрадовался... Хотел взглянуть на Жданку, Жданки не увидел.

Принято думать, что те же коровы, те же лошади равнодушны ко всему, что происходит в мире, скажем, какое дело той же Жданке до упавшей с крыши первой каплюжины, было бы сено, был бы кой-какой корм, а недавно купленной кобылице, что ей надо? Надо сена, овса, но ни овёс, ни сено не веселят понуро опущенных, прикрытых длинной чёлкой фиолетово заугрюмевших глаз.

– Тоскует, – так сказала мать ещё в первый день появления вороной полукровки на нашем дворе.

А вот Жданка, она не тоскует, она сама отворила воротца, она как угорелая выскочила на улицу и без дороги, по мятюгу, подбежала к смирно стоящей у завалинки невзрачной комолой коровёнке. Обнюхались, что-то сказали друг дружке и, помотав головами, разошлись в разные стороны.

Сколько их, бурых, красных, чёрных, пёстрых, рогатых и комолых коровушек вышло на улицу, гуляют, справляют свой праздник...

– В палку-закидалку будешь играть? – спрашивает меня Володя Сабурин, мой сверстник, мой ровесник.

– Буду, – не задумываясь, своему сверстнику, своему ровеснику.

Саня Туманин, Еня Филиппов, Саня Филинов (внук Петра Степановича Филинова), все годки, все подходят к палке-закидалке, берут её в руки, перебирают – снизу вверх – руками, я тоже перебираю, я покрываю своей рукой косо обрубленный конец. А это значит: я должен «водить» – бежать за далеко закинутой палкой, потом искать спрятавшихся по задворьям товарищей.

Увлекательная игра, иной игры моё сельское мальчишество не знало, мало знало моё сельское мальчишество и каких-либо сладостей, ну хотя бы леденцов (ландрина), играя в палку-закидалку, я досыта лакомился свисающими с крыш сосульками. Сосульки – они те же леденцы, только кашель опосля одолевал... А податливый, зажатый в горсти снег, он – как мороженое. Впрочем, я в своём мальчишестве не видел мороженого, увидел в иную пору, в иные годы.

– Санька! Санька! – по голосу узнаю: кричит мать Сани Туманина, Наталья, я знаю, почему она кричит, и с великой жалостью смотрю на своего товарища.

Товарищу предстоит расставание с теми тропками, которые мы промяли по засугробленным задворкам, его родители уходят на удельную землю, это в пяти верстах от Красного Осёлка, пообочь большой дороги уже поставлены бревенчатые избы, поставил такую избу и Иван Фёдорович Туманин, отец Саньки.

– Побьёт тебя отец-то! – не унимался, приближался к нашей палке-закидалке хорошо слышный, дрожащий голос.

– Полезай в пелёду, – говорили мы своему товарищу.

Санька залезает в ещё не оттаявшую за тонкими ореховыми перелединами солому, укрывает себя этой соломой, а мы пристально наблюдаем за Санькиной матерью, за её чёрными, в глубоких калошах чёсанками.

Помнится, нам удалось на целую неделю оттянуть отъезд своего дружка-товарища...

Возвратился домой и – не увидел на правом чёсанке калошины.

Боже мой, что я скажу бабушке?

Мигом, не говоря ни слова, вылетаю на улицу, ищу свои следы, иду по своим следам, нахожу теперь уже никому не нужную палку-закидалку и не нахожу – калошины.

Опускалось, пряталось за дворы большое, как бы глядящее во все глаза солнце, начало примораживать, плачущая своими сосульками зима почала настеть, не проваливаясь, я ходил по сугробинам, я заглядывал, как в колодец, в каждую ямину оставленного моими (и не моими) ногами следа. Мычали коровы – расходились по своим дворам. Я закружился, умаял себя напрасными поисками, а тут ещё яблони, ах, как рано они учуяли весну, набух пучок*, ожили, зарозовели, но больше всего зарозовела верба, она уже кажет серебряные коготки... Пьянящ, одуряющ тронутый первыми оттепелями февраль, он дурманит своей брагой. Чирикают, неумолчно галдят воробьи – нахлебались, может, из моего следа, а может, из бабушкиной утерянной калошины.

Иду не к своему приступку, не к своему крыльцу – иду к приступку пятистенного дома, в правой половине этого дома живёт Еня Филиппов, самый тихий из всех моих товарищей.

– Что топчешься на пороге-то? Проходи вперёд, – гостеприимно говорит мне Дмитрий Фёдорыч, отец моего тихого товарища.

Я робко-робко ступаю по разостланному – от стола до порога – половику.

– А Евгений где? – спрашиваю Дмитрия Фёдорыча, маленького, с рыжеватой бородкой мужичка.

– Он на печи.

Лезу и я на печь.

– Полезай. Полезай, – подбадривает меня Дмитрий Фёдорыч.

– Давай загадывать загадки, – это Евгений, это он предлагает и скороговоркой начинает загадывать.

Еду-еду,
Следу нету,
Рублю-рублю,
Щепок нету.

Я быстро отгадываю – плывущая на вёслах лодка.

Лежит брус
На всю Русь,
В этом брусе
Двенадцать гнёзд,
В каждом гнезде
По двенадцать яиц,
В каждом яйце
По двенадцать цыплят.

Задумываюсь, смотрю на полати, на их брус, но не нахожу подобия ни в брусе, ни в досках полатей. Отец Евгения, Дмитрий Фёдорыч показывает на матицу, я быстро соображаю, скоропалительно говорю – матица.

– Тебе тятя подсказал, – урезонивает меня мой друг, мой товарищ.

---

* Пучок – почки, предвещающие урожай яблок, не срезанная пилочкой-ножовкой молодь.

Два стоят,
Два лежат,
Пятый ходит,
Шестой водит,
Седьмой песенки поёт.

Дмитрий Фёдорыч показывает на дверь, я нарочно медлю с ответом, я соображаю, и на удивление своего товарища сообразил – дверь.

Приспела моя очередь загадывать.

Не подойдешь – не поклонится,
Руки не подашь – рыло отворотит,
Подашь руку,
Омолодит старуху,
Одарит старика
Ранним утречком.

– Рукомойник! – радостно восклицает мой товарищ, восклицает как раз тогда, когда в дверях возле рукомойника совсем неслышно появился сторонний человек, перекрестясь, он проговорил:

– Добрые люди, пустите Христа ради, перекоротать ночь.

– Милости просим, – отозвался Дмитрий Фёдорыч, отозвался так, что опущенные под ноги глаза приподнялись, показали своё обрадованное февральской оттепелью небо.

Выглянула из запечья Марья Степановна – мать моего товарища, друга, отирая о холст застиранного запона свои руки, она ласково запела:

– Котому-то на крючок повесь.

– Повешу, мамаша, повешу.

– Ноги-то не замочил?

– Замочил.

– Как не замочить! Ботиночки-то больно хлюпки.

– Ещё дореволюционного производства.

– Енюшка, скинь валенки, – попросила Марья Степановна своего сына.

– Вот эти?

– Эти, эти!

Об пол тупо стукнулись старые, давно подшитые валенки.

– Надевай.

– Премного благодарствую, – проговорил попросившийся скоротать ночь, неведомо откуда явившийся человек. Он снял свои разбухшие от мокрого снега ботинки и, надев валенки, устало припал на скамью.

День сравнялся с ночью, во многих избах не зажигали огня, ужинали засветло, поужинав, ложились спать. Берегли керосин. У Марии Степановны свет еженочно горел до первых, а иногда и до вторых петухов, я частенько глядел на этот свет из окна своего полудомка и – завидовал. Ах, как было бы здорово, если бы и наши семилинейные лампы бодрствовали до петухов, до двенадцатого, гулко падающего с плечистой, высоко вознесённой колокольни часа! Впрочем, я не собирался домой, потеряв бабушкину калошину, я как бы навсегда лишился родного очага, сижу на чужих кирпичах, на чужой печи.

– Садитесь ужинать, – проговорила Марья Степановна и стала накрывать на стол.

Марья Степановна знала, что я за мирской стол не сяду, поэтому подала мне на печь огромный кусище дрочёны, подала на листе бумаги,

дескать, не бойся, не обмирчишься. Такого уважения к иной вере я не встречал, отцы и матери многих моих мирских товарищей всячески старались «обмирчить» меня, спасала самоварная заглушка.

Дмитрий Фёдорыч очень желал покалякать со сторонним человеком, но во время принятия пищи – калякать грешно, покалякал за самоваром. И – удивился, как мало знают обитатели того же Красного Осёлка о том, что творится на белом свете.

А творится небывалое, творится такое, что не может не будоражить всей страны, всей России.

– Вы что-нибудь о съезде партии большевиков слышали? – спросил Дмитрия Фёдорыча сторонний человек.

– Мы слыхали, что колхозы надвигаются.

– Колхозы само собой, колхозов бояться не следует.

– Как это не бояться колхозов, под одним одеялом мы спать не собираемся, – вмешалась в разговор Марья Степановна, она посмотрела на старенькое лоскутное одеяло, что прикрывало деревянную, с круглыми шишечками кровать.

– Иосиф Виссарионович Сталин много говорит о классовой борьбе, что классовая борьба при построении социализма будет всё больше обостряться.

– А как понимать этот социализм? – осведомился Дмитрий Фёдорыч, не на шутку заинтересованный неожиданно завязавшимся разговором.

– Социализм – товарищество, объединение.

– Так мы не супротив объединений, я сам стою за объединения. А за большевиков я ещё при Керенском, когда под Иван-городом на позициях стоял, голос свой отдал.

– А вы что делаете? – этот вопрос был задан мне и Евгению, задал его допивающий свою чашку чая, совсем не похожий на нищего, любопытный товарищ.

– Буквы учимся писать.

Товарищ вынул из кармана ручку-самописку (такой ручки я не видел) и на листе бумаги написал: Karl Marx...

– Можете прочитать?

Мы замотали головами.

– Карл Маркс.

Кто такой Карл Маркс мы ещё не знали.

– Скоро узнаете, – так сказал непохожий на нищего, уклавшийся на полу, любопытный, по обличью не такой уж старый человек.

XVIII

Больше недели не выходил я на улицу, сидел дома, быстро освоился с русской азбукой, дед радовался. Ещё бы! Внук сумел постичь буквицы гражданского письма, того письма, которое самому Петру Матвеичу так и не далось.

Странное дело: приверженец древлего благочестия, старовер, дед мой благоговел перед теми, кто самоуком выходил в люди, кто постигал премудрость печатного слова, тут есть какое-то сходство с весьма заметными в российском государстве выходцами из неимущего сословия людьми, с Морозовыми, Бугровыми, Рябушинскими, кстати, все они были приверженцами древлего благочестия, староверами.

– Онисья, послушай-ка.

– Что мне слушать-то! Он калошину мою потерял...

– Забудь ты свою калошину.

– Забудь! Гоже тебе баить-то, а мне на улицу не в чем выйти, распутица скоро.

– Куплю я тебе калоши.

– Купишь. Дожидайся.

Дед привстал из-за стола, потянулся к божнице, вынул из божницы и положил передо мною залистанную тетрадь, писанную уставом.

– «О трёх исповедниках слово плачевное», – прочитал я первые, крупно выведенные чёрными чернилами слова.

– Онисья, слушай.

– «В лето быша три исповедницы, жёны-болярони: Глебовская жена Ивановича Морозова Федосья Прокопьевна, во инокинях Феодора-схимница, и сестра ей бе, нарицаемая княгиня Урусова, Евдокея Прокопьевна, с ними же дворянская жена Акинфея Ивановича Данилова Мария Герасимовна. Беша бо Феодосья и Евдокея дщери мне духовные, иместа бо от юности житие воздержное и на всяк день пение церковное и келейное правило. Прилежаще бо Феодосья и книжному чтению и черплюще глубину разума от источника словес евангельских и апостольских. Бысть же жена веселообразная и любовная».

– Отдохни.

Я оторвался от тетради, глянул на деда, дед был в умилении.

– Читать дальше?

– Чти.

– «Звезда утренняя, зело рано воссиявающая! Увы, други моя сердечная! Кто подобен вам на сем свете, разве в будущем святие ангели! Увы, светы мои, кому уподоблю вас? Подобни есте магниту каменю, влекущу к естеству своему всяко железное. Тако же и вы своим страданием влекуще всяку душу железную в древнее православие. Иссуше трава, и цвет ея отпаде, глагол же Господен пребывает во веки. Увы мне, увы мне, печаль и радость моя всажденная три каменя в небо церковное и на поднебесной блещашеся! Аще телеса ваша и обесчещена, но душа ваша в лоне Авраама, и Исаака, и Иякова.

Увы мне, осиротевшему! Оставиша мя чада зверям на снедение! Молите милостивого Бога, да и меня не лишит части избранных своих! Увы, детоньки, скончавшияся в преисподнях земли! Яко Давид вопию о Сауле царе: горы Гельвульския, пролиявшия кровь любимых моих, да не снидет на вас дождь, ниже излиется роса небесная, ниже воспоет на вас птица воздушная, яко пожерли телеса моих возлюбленных! Увы, светы мои, зерна пшеничная, зашедшия под землю. Яко в весну прозябшия, на воскресение светло усрящу вас! Кто даст главе моей воду и источник слез, да плачу другов моих?»

– Что-нибудь уразумела? – подобрев и просветлев лицом, спросил Пётр Матвеич свою Анисью Максимовну, когда я кончил чтение, когда к моей голове благодарно прикоснулась увядшая, как прошлогодний лист, сморщенная ладонь.

– А ты-то уразумел?

– Как мне не уразуметь! Я ведь всё сочинение протопопа Аввакума прочёл, житие его с молодых лет знал, гонения перетерпел.

– Какие это гонения?

– Как какие! Никониане нас не жаловали, в Сибирь гнали, в острог сажали.

– Тебя-то не сажали.

– Меня-то не сажали, а родителя моего в узилище сгноили. А что раньше-то было, и сказать немыслимо. Сам Никон патриарх языки резал, в землю живым зарывал. Люди самосожжению предавались, дабы уйти от сатанинского поругания.

Я устранился и от только что прочитанной тетради, и от разговора деда с бабушкой, я встал на скамью, всем существом своим прилип к незапележенной прогалине оттаявшего окна, я видел, как валил снег, снег этот большими хлопьями опускался на развесистые ветви наклонённой к Сабуриному двору берёзы, белой попоной накрыл впряжённую в сани-розвальни лошадёнку. Потянуло на улицу, потянуло так, что я чуть не заплакал, но на ногах моих одни носки, да и те с протёртыми пятками...

Хочу, чтоб скорей возвратился отец, скорей подшил мои валенки.

– Снег идёт? – спрашивает дед, спрашивает так, как будто я только что возвратился с улицы.

– Валом валит, – отвечает за меня приседающая на донце острозубого гребня пасмурневшая бабушка.

Вряд ли кто может сказать, когда, в какие веки вытесали человеческие руки из берёзового кругляка то, что по-русски принято именовать гребнем, прядильный гребень, не больно-то мудрящ сей предмет, но без него нельзя обойтись. Можно предположить, без него не обходилась княгиня Ольга, было время, и княгини тянули шерстяную или льняную нить из расчёсанной на острозубом гребне кудели, мочки, как баяла моя мать, что опять где-то запропастилась, знать, по шабрам блондит...

А она легка на помине, мать моя, не успев закрыть за собой дверь, сразу ошарашила ужасающей новостью:

– Василия Коржиманова убили...

– Кто убил? – не веря словам матери, осведомился не утративший привычного спокойствия дед.

– Говорят, Пест.

Пест – это прозвище длинного, всегда исподлобья посматривающего мужика, жил он в конце, плотничал, вязал рамы, вырезал оконные наличники.

– За что убил-то?

– Ни за что, пьяный был.

– Пьяные песни поют, людей зазря не убивают. Значит, чем-то досадил.

– Да ты что, ты бы постыдился так говорить, – напустилась из своего запечья на дедово умозаключение ошарашенная нелепой смертью Анисья Максимовна, – ты же знаешь, – продолжала она, – какой человек Василий-то был, он мухи за всю свою жизнь не обидел, а уж с людьми-то какой ласковый был! Сколько лет прошло, а я не забыла, гоже помню, как он на войну-то уходил, вместе с Григорием в воинское присутствие заявился, Григорию-то отсрочку дали, а его забрили. «Прощай, Онисья!» – сказал и отворотился, слёз своих не хотел казать...

Дед молчит. Всякая смерть омрачает самый светлый день, и кажется, не снегопад – белый саван кроет притихшую улицу, застилает избитую конскими подковами дорогу.

– Заяц-то твой жив? – глянув под кровать, спросила меня примирённая со всеми превратностями жизни, подобревшая мать.

Три раза на дню кормил я своего зайца прибережённой на зиму морковкой, капусткой, а иногда – брюквой. Заяц не брезговал – уплетал за обе щеки...

– Жив! – радостно воскликнул я, когда слазил под кровать и убедился, что косоглазый огородник особо не тяготится своим узилищем, своим сколоченным из кровельных досок ящиком.

– Унеси.

– Куда?

– В лес.

Не ожидал я такого сочувствия, мать, как мне казалось, равнодушна к судьбе своих четвероногих сородичей, она сама не раз говорила, что не любит ни собак, ни кошек, а тут заяц, проявила к зайцу своё участие.

– На, надевай валенки и неси.

От валенок я не мог отказаться, но с зайцем расставаться не хотелось. Вытащил из ящика, взял за длинные уши, ах, косоглазый огородник, как он перетрусил и, перетрусив, как бы покорился своей участи, присмирел. Так бывает не только с зайцами, бывает так с волками, с дикими кабанами, бывает и с людьми.

Двигаюсь по огороду давней, заваленной не переставшим снегопадом лыжне, чувствую на своих губах молоко небесной коровы, оно, многоструйно цедясь, белопенно кипит под отногами еще не оклемавшихся от мороза яблонь.

– Сиди смирно, – говорю засунутому за пазуху огороднику, придерживаю его обеими руками.

Не хочет сидеть смирно, учуял если не яблони, так свои следы, что оставил возле замятюженных присадков, брыкается косоглазый, сучит своими задними лапами. Возле овина, до крыши заваленного наметёнными за зиму сугробами, я вытащил косоглазого из-за пазухи, крикнув:

– Беги!

Косоглазый, привстав на задние лапы, вытянулся, подался всем своим существом к обозначившемуся зеленью сосновой хвои Ближнему врагу. Не знал, не ведал косоглазый, что он бежал навстречь своей смерти, с опушки Ближнего врага грохнул выстрел, грохнул глухо, но сидящая на крыше овина сорока услышала выстрел, застрекотала, рассыпала свою дробь по снежному полю, по снежной замяти.

Я знал, что в Красном Осёлке ружье было только у лесника, у Агеева Александра, лесник был крив, может, потому-то и стрелял так метко – заяц был сражён с одного выстрела и не в упор, на весьма почтенном расстоянии. И что удивило меня: лесник даже не прикоснулся, ни приподнял за длинные уши наповал сражённого огородника, он даже не поглядел на только что пролитую кровь, на широких лыжах, с закинутой за спину двустволкой упрямо двигался к ветряной мельнице.

Кстати, о мельницах: на прилегающем к загумённым овинам поле стояли три ветряные мельницы, одна из них принадлежала Петру Матвеичу, моему деду.

Мельница деда стояла бескрылой, когда, в какую зиму или лето она обескрылила, я не знаю, возможно, до моего рождения, по крайней мере в моей памяти не запечатлелось ничего такого, что могло бы зримо предстать передо мной если не крыльями, так крутящимися жерновами, камнями, как у нас говорят, воссоздавая, возможно, в излишних подробностях давно ушедший быт своей отчины, я не могу хотя бы кратко что-то поведать о дедовой мельнице, скажу только одно: её бескрылость меня пугала, пугала так, как может пугать убитая птица или лишившийся обеих рук человек.

Домой возвратился по сумеречи, видел, как, закатываясь, круглилось своим непомерно увеличившимся ликом багряно рдеющее солн-

це, не мог не видеть только что явленного на свет, похожего на заячью слезу, остро светящегося месяца, даже когда я сидел на тёплых кирпичах печи, этот месяц грустно слезился в мою, пришибленную неожиданно грохнувшим выстрелом, чутко настороженную душу.

XIX

Я уже слышал, как звонит колокол по усопшему, слышал в Великовском, а ещё раньше – в моём незабвенном Красном Осёлке. Бывал я на кладбище, на нашем староверском кладбище. На мирском не был, хоть и проходил чуть ли не каждодневно мимо его ограды. Батя-батенька, пороча никониян, щепотников, равнодушно взирая на великолепие кирпичного капища (мирской церкви), насколько помнится, не сказал ни одного худого слова о тех, кто обрёл вечный покой, больше того, он мог подолгу грустить над любой, даже не осенённой крестом могилой. Не раздражал и колокольный звон, колокольный плач, что слезился за кондовыми стенами нашего полудомка.

– Ты пойдёшь? – неожиданно обратилась ко мне обутая в ещё необновлённые чёсанки опечаленная мать.

Я не предполагал, что моя родительница надумала взять меня на похороны, поэтому спросил:

– Куды?

– Василья Коржиманова коронить.

Не знаю, худо ли, не так уж худо, когда твоё мальчишество омрачено не одним колокольным, медно всхлипывающим плачем, но и вербно пролившейся слезой убитых тяжёлым горем близких соседей, близких твоему дыханию людей.

– Марья, ты собралась? – не входя в избу, из приоткрытой двери вопросила одетая в плюшевую курточку Анюша-Анюшенька, та самая Анюша, что так весело притопывала на бабушкиных именинах.

– В избу заходи, – встав со скамьи, попросила резвую плясунью моя мать, моя родительница.

– Что заходить-то, – закрывая за собой дверь, с источенного кошачьими когтями порога грустно промолвила вроде не подверженная превратностям жизни, неунывающая бабёнка.

– Присядь, Анюшенька. Посиди. Послушай, что скажу тебе, – мать моя усаживает Анюшу-Анюшеньку на придвинутый к её ногам табурет да и сама приседает, а присев, начинает повествовать, рассказывать такие ужасти, каких и во сне не увидишь. – Думаю, проститься нады с Василием-то, ты знаешь, какой человек-ат он был, слова худого от него никто не слышал. Пошла. Переступила порог. Хотела перекреститься. Не перекрестилась. Чужих людей увидела, сперва одного мужика, а опосля двух баб, все в белых колпаках, в белых халатах. На докторов похожи. Меня оне и не заметили. Да, забыла сказать: на мужиках-та белый намордник был. Попытала: кто это? Что это? А это Василья взрезать приехали. Набралась смелости, в горницу прошла. И – обмерла. Василья растелешенного увидела . На скамье лежал с взрезанным брюхом. Анюшенька, милая моя, взяла я на себя великий грех...

– Какой это грех? – не утерпела, спросила Анюша-Анюшенька и, завороженная необычным повествованием, надолго присмирела.

– А вот какой грех... Мне бы домой нады уйти, а я глаза шире рта разинула. «Любопытство разобрало», – процедил сквозь свой намордник

вроде бы и не сердитый, но не больно словоохотливый – кто он? – доктор не доктор. Может, мясник какой. «Гляди», – говорит мне. А сам резиновыми руками в брюхо полез, кишки стал вынимать. А кишки-то светлые-светлые, как снежница, как ручьи по весне. Потом ножик взял, какой-то не такой, чудной какой-то. На пилу похожий. Грудь стал потрошить. И поверь мне, Анюшенька, – сердце из человека вынул. А сердце-то – как анисовое яблоко, только уж больно большое. Сперва на одной руке держал. Не удержал. Другую руку подставил, на двух руках, на двух ладонях стал держать. «Доброе, большое сердце носил в себе человек», – так сказал накрытый белым колпаком – кто он? – доктор не доктор, но и не мясник. Мяснику всё равно, какое оно, сердце-то, доброе али недоброе, большое али маленькое...

Пошли, Анюшенька, а то без нас схоронят.

Недалеко, всего через два дома, на той же стороне, на том же порядке, что и наш полудомок, стояла изба Василия Коржиманова, пригорюнился заваленный снегом невеликий двор.

Присел на задницу, скатился с боковой, круто положенной, скользкой-скользкой доски шаткого моста, его ступенчатой лесенки. Вознамерился взять с собой салазки. Мать не дала взять, сердито крикнула:

– Не бери!..

Закрытая дверь принакрытого снегом крыльца, вздрогнул от внезапно ударившего похоронного колокола, а может, от упавшей за шиворот капли, той капли, что долго холодила мою спину.

– Красно-то как! – не утерпела, проговорила, воззрясь на высоко взошедшее солнце, моя родительница, она и сама выглядела празднично: ещё не надёванные, бережённые чёсанки, а на них блестящие, без единой царапинки калоши, разлетайка, тоже новая, возможно, купленная, а возможно – сшитая пришлыми швецами. Но больше всего меня удивила шаль, шерстяная, с длинными, как у одеяла, концами, с кистями, с белыми – в клетку – полосами.

Вылез из подворотни, кукарекнул во всё горло петух, наверно, обрадовался упавшей под ноги каплюжине.

– Тепло учуял, – глянув на петуха, проговорила Анюша-Анюшенька. И – перекрестилась...

Сорвался с колокольни ещё один удар похоронного колокола. Влажно прогудел над подтаявшими сугробами зачерствевшего за зиму, синеватого снега. По красной стороне почти у каждого двора смирно стояли коровы. Я увидел свою Жданку, её настороженные уши, а уши её как желтые варежки на руках барыни, да и сама-то она – как барыня. А и впрямь – как барыня! Красной, огненной масти с длинной репицей низко свисающего хвоста, с рогами, похожими на пасхальный калачик, с белым-белым выменем.

– Наша корова, – проговорил я, останавливаясь на протоптанной в глубоком снегу, оледенелой тропинке.

Мать не обратила внимания на мои слова, не глянула она и на корову, она почему-то запрокидывала голову, взирала на небо. А небо – без единого облачка – обретало утраченную за зиму, пока ещё жидкую, но всё же заметную синеву.

Возле двора покойного ратника стояли знакомые и незнакомые мне люди, больше бабы. Они яро осуждали убийцу.

– Убить человека... Да как рука-то поднялась?

– Детей осиротил...

– Судить нады.

– Суди не суди, ряди не ряди – человека-то не воротишь...

Я не задержался возле двора, мне хотелось протиснуться в избу, взглянуть на большое анисовое яблоко, на снежницу, на её светлые-светлые ручьи... Не взглянул. В передней избе* на продольной лавке, головой к божнице, к её горестно слезящейся своим огоньком лампаде, покоился в дощатом, смолисто пахнущем просторном гробу, лежал со сложенными на груди руками дядя Вася, Василий Андреевич, лежал как живой. Только глаза прикрыты. Как будто спал.

Заволновался народ, кто-то отодвинул меня от гроба...

– Священник пришёл.

– Проходи, отец Анатолий.

– Пройду. Пройду.

Слова эти заворожили, хотелось взглянуть на отца Анатолия, близко я его не видел.

Я лицезрел, каждодневно озирал распятие Иисуса Христа на иконах древлего письма. Облик Спасителя выглядел угрюмо, немощно, потому страшил, будто ведал все содеянные грехи. Совсем другой облик являли иконы позднего никонианского письма. Симон Ушаков одарил русскую православную церковь иными ликами – они предстали во плоти, даже великомученики и те не были так худы, так немощны, как их привыкли представлять ревнители древлего благочестия.

Отец Анатолий, в чёрной митре, в чёрной епитрахили, с большим, может, медным, а может, золотым крестом на груди, вплотную придвинулся к убиенному. Попросил уголёк, кому-то дал «расшевелить» свою кадильницу, положил в неё несколько щепотей пахучего ладана.

Лицо убиенного озарилось светом ровно горящих в изголовье гроба свечей.

– Со святыми упокой раба Твоего, – пропел грудной, удивительно жалостливый голос.

Я видел, как светились чистые, как каплюжины, слёзы молящихся людей. Но не слёзы, не они удерживали меня неподалёку от гроба, я дивовался отцом Анатолием, по своему обличию он был схож с обликом Спасителя, те же золотые кудри, золотая борода и глаза небесной, незабудковой голубизны.

Не знаю, как я очутился – впервые – в церкви, не знаю, куда подевалась мать, знаю только, как поразило меня никогда не виданное мной великолепие, внутреннее убранство царственно вознесённого на темя высокой горы чуждого мне храма. Глаза мои не могли с одного раза вобрать роскошь золотящихся кружевными окладами икон. А сколько витых, тоже золотящихся столбов! Но больше всего поразил меня свод увиденного великолепия, его купол, весь в звёздах, а среди звёзд летящий Бог Саваоф и архангелы с приложенными к губам трубами. Они возвещали сошествие на грешную землю Вседержителя, Пантократора, как его именуют греческие богословы.

Пожалуй, я бы не оторвался и от летящего Бога Саваофа, и от трубящих архангелов, если б не услышал завораживающий голос, нет, не голос – глас отца Анатолия.

Хочу оговориться: в свои неполные семь лет я не мог запомнить обращённого к провожающим в последний путь раба Божия Василия вдохновенно сказанного слова, но в моей памяти сохранился смысл

---

* Передней в Нижегородском приволжье зовут ту часть избы, которая выходит своими окнами на улицу.

этого слова, его суть, да и сам склад не выветрился из головы, он до сих пор волхвует ещё неразгаданными тайнами.

«И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, на брата своего и убил его».

Совершилось первое на земле убийство: брат убил брата. Милостив Господь, он не покарал убийцу, он сказал только: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, ты будешь изгнанником и скитальцем. И пошёл Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Эдема».

Милостив Господь, но милость не пошла впрок. Множась, расходясь по лицу земли, впавшие в грех люди не перестали убивать друг друга. Книги Ветхого Завета повествуют, как те же люди перековывали орала на мечи, как один род восставал на другой род, как бесновались, старались утвердить себя в неистовом умопомешательстве многие языки, а паче всего их предводители, облечённые в царские одежды, взявшие в свои руки жезл правления, скипетр ничем не ограниченной власти.

Свидетельствует Книга Судей: «Через несколько времени Аммонитяне пошли войною на Израиля. Старейшины галаадские сказали Иефаю: для того мы пришли к тебе, чтобы ты пошёл теперь с нами и сразился с Аммонитянами, и был у нас начальником всех жителей галаадских».

Начальники, все они, во все времена пребывали во вражде друг к другу, не жаловали они и тех, кто призвал их, возвысил над собой. Возвысившийся не узрит униженного, не услышит возвысившийся, как ропщет камыш, стоящий по шею в холоде потемневшей воды. Коршун не ведает печали воробья, дерево не ощущает боли поваленной косою луговой травы. Парящий по небу безучастен к влачащему себя по грешной земле. Из одного железа куются орало и меч, но не орало, меч вершит судьбы, и не только отдельно взятых людей – купно возвышает или унижает целые царства-государства. Бывает и так: от высоко подъятого меча исчезают многие языки.

Свидетельствует первая Книга Царств: «И собрались Филистимляне на войну против Израиля: тридцать тысяч колесниц и шесть тысяч конницы, и народа множество, как песок на берегу моря; и пришли, и расположились станом в Михмасе с восточной стороны Беф-Авена... »

А вот что говорит вторая Книга Царств: «И сказал ему Давид: что произошло? расскажи мне. И тот сказал: народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло, и умерли и Саул и сын его Ионафан».

Да, бывает, когда сами предводители становятся жертвой подъятого меча, но на протяжении всего жития, пребывания человека на земли не было такого случая, чтоб победитель протянул руку побеждённому. Возвысившийся не унизится, гора не может стать низиной, дерево не станет травой...

Отец Анатолий приумолк, опустил долу опечаленные глаза, прикрыл их длинными ресницами, могло показаться: что-то забыл... Нет, не забыл отец Анатолий, как в иное, совсем в недавнее время раздавшийся в Сараеве выстрел возвестил о всесветной бойне, о небывалом смертоубийстве, народы, некогда воспринявшие учение Христа, изо дня в день на протяжении четырёх лет истребляли самих себя.

– Великое испытание выпало русскому народу. Незлобивый по своему характеру народ по воле правителей был ввергнут в пучину небывалого кровопролития. Мазурские озёра, предгорья Карпат, скорбные очи Речи

Посполитой, сиречь Польского царства зрили неимоверные страдания русского ратника. Кто знает, кто скажет, сколько жизней уложено на полях всесветного убоя? Никто не знает, никто не скажет. Только Господь, только он один может поведать, может сказать, он призывает помянуть всех убиенных... Да воссияют их души во мраке непроглядной ночи.

Ночь посредь дня надвигается. И не надвигается – уже надвинулась, произошло затмение человеческого ума, помутился человеческий разум.

Повествует книга Бытия: «Двинувшись с Востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнём, построим себе город и башни, высотою до небес...»

Забыли люди, что выше себя им не подняться, что их удел – возделывать землю, растить свой хлеб, гордыня обуяла помрачённый дьявольским зельем разум жестоко обманутых людей.

Нет пророка в своём отечестве, пророк пришёл из иной земли, он возвестил о призраке... Не удивляйтесь, призрак этот схож с Вавилонской башней, он уже возвысился, поднялся в небо, он громогласно вострубил, что Бога нет. А ежели нет Бога – всё возможно, всё дозволено.

Многим ведомо, что русские и немецкие солдаты даже через колючую проволоку подавали друг другу руки, братались, но когда штыки были повёрнуты в иную сторону, когда по призыву новоявленных смутьянов весь накопившийся гнев был обрушен на голову какого-нибудь прапорщика или поручика, тогда не было явлено никакого братания, никакого милосердия, ибо тот же прапорщик, тот же поручик оставались верными данной присяге. «Мир хижинам, война дворцам!» И война расплыхалась, безрассудно беспощадная, она именовалась справедливой... Справедливых войн никогда не было и не могло быть, как не может быть справедливого убийства, всякое убийство несправедливо. Не убий – заповедал наш Спаситель.

Забвение заповедей Спасителя привело к всесветному кровопролитию, к межусобной смуте, к падению сотворённого для любви человека, к потере души. Имеющий душу не поднимет руку на своего собрата, не лишит дыхания выпавшего из гнезда неразумного птенца.

Над прахом убиенного, над его прикрытым сомкнутыми веждами, непробудным сном не могу не поведать, что грядёт, что уже видится и не только видится – слышится приближение железно громыхающей колесницы.

Имеющий уши да услышит!

Имеющий очи узрит – и не призрак, не тень от парящего облака – во плоти и в силе движущегося Левиафана, звероподобное чудовище.

«И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Пошёл первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его» – так говорит, так повествует в своём Откровении Иоанн Богослов, что был сослан на остров Патмос «за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа».

За слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа ссылают и не только ссылают, лишают живота и в наше смутное время. Воспринявшая от византийских вероучителей свет дивно воссиявшей истины земля наша, наша держава стала святой. Святая Русь, о тебе, о вере твоей лью скорбь свою, печаль свою, вопиющими слезами исходит душа, нет

и не будет утешения до тех пор, пока имеющие начертание зверя не устрашатся самих себя, пока возводимая до небес Башня не рухнет, не превратится в наглядное назидание всем обитающим на земле здравомыслящим людям. Башня рухнет, не попустит Господь...

Тебе молюсь, к тебе взываю, Господи, не дай загубить выпавшего из гнезда, неразумного птенца!..

Ударил колокол, к опущенному на катафалк гробу придвинулись бороды хорошо знакомых мужиков, наших шабров. Я побаивался, что они могут сердито глянуть на меня, кто тебя, кулугура, позвал под купола мирской обители? Никто не глянул, никто не заметил моего засунутого за пазуху малахая.

– Да воскреснет Бог и расточатся врази его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, – слова эти удивили меня, их каждодневно произносил мой батя-батенька, произносились они и в моленной. Неожиданно для себя я постиг ещё одну истину: все мы величали одного Бога, возносили ему одни и те же молитвы.

– Яко исчезает дым, да исчезнет: яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешники от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются перед Богом, да насладятся в веселии!..

По всей округе, по всему Нижегородскому Приволжью шла молва о громогласии Николая Быкова, дьякона Красноосельской церкви, и я услышал это громогласие, оно сразу заглушило пропетые отцом Анатолием псалмы.

– Со святыми упокой, – возгремел чернобородый, диковато воззрившийся на всполошенные огни свечей, похожий на былинного богатыря дьякон.

– Прости убиенного раба твоего, Господи! – жалостливо, как тающий воск, прослезились бабьи голоса, бабьи вздохи.

Послышался ещё один удар похоронного колокола, погасли непогашенные возгремевшим дьяконом свечи, легли на плечи бородатых мужиков поручни катафалка.

Наполненная неизбывной печалью церковь стала пустеть, люди устремились к вырытой у кладбищенской ограды свежей могиле, только неведомые мне старухи остались под церковными куполами, они, крестясь и воздыхая, стояли перед ликами святых великомучеников. Я тоже придержал себя, хотелось пристально оглядеть никогда не виданное мной убранство мирской обители. Пожалуй, я бы долго тешил свои глаза кружевной позолотой, но – какой ужас! – неожиданно наткнулся на человеческий череп, он глядел на меня пустыми глазницами, он чуть не ухватил меня оскалом своих зубов. Стремглав устремился к выходу, к окованной тяжелым железом двери. Не помню, как очутился у своего крыльца, но и у крыльца виделся прилипший к подножью увенчанного терниями Распятия человеческий череп, виделись его пустые глазницы, его оскаленные зубы...

Окончание в следующем номере